

Фаддей  
БУЛГАРИН

ДИМИТРИЙ  
САМОЗВАНЕЦ



# Фаддей Венедиктович Булгарин Димитрий Самозванец

[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=330752](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=330752)

## Аннотация

Эпоха «великой смуты» – исторический фон романа «Димитрий Самозванец». Трагедия государства, трагедия народа и личностей, таких как Борис Годунов и его семья, – показаны ярко и правдиво.

Свой роман Ф.В.Булгарин создал на основе подлинных документов и исследований.

## Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	4
ПРЕДИСЛОВИЕ	9
ЧАСТЬ I	15
ГЛАВА I	15
ГЛАВА II	20
ГЛАВА III	29
ГЛАВА IV	41
ГЛАВА V	51
ГЛАВА VI	60
ГЛАВА VII	68
ЧАСТЬ II	74
ГЛАВА I	74
Конец ознакомительного фрагмента.	83

# Фаддей Венедиктович Булгарин Димитрий Самозванец

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Царь Иоанн Васильевич Грозный женился в седьмой <sup>1</sup> раз, без церковного разрешения, на дочери знатного сановника Федора Федоровича Нагого в 1580 или 1581 году. От сего брака родился в 1582 году сын Димитрий. При вступлении на престол Федора Иоанновича царица Мария с родом своим и малолетним сыном была сослана в Углич по внушению любимца и шурина государева, боярина Бориса Федоровича Годунова. Царевич Димитрий убит в Угличе злодеями, Битяговским и Качаловым, в 1591 году, мая 15 дня. Современники обвиняли Бориса Годунова в составлении сего умысла, для очищения себе пути к престолу после бездетного и слабого Федора Иоанновича. Участие Годунова в сем деле **исторически не доказано**, но нельзя не подозревать его, соображая все поступки, предшествовавшие и последовавшие сему событию. После следствия, произведенного в Угличе боярином князем Василием Ивановичем Шуйским, Клешниным, дьяком Вылузгиным и митрополитом Крутицким, обвинили царицу и братьев ее, Нагих, в небрежении при воспитании Царевича и в возбуждении угличан к мятежу. Нагих сослали, а царицу постригли в монахини под именем Марфы и заключили в монастырь святого Николая на Ваксе, на Белоозере, в том же 1591 году.

Современники думали, что тем сие дело и кончилось; но провидению угодно было испытать Россию бедствиями. Явился человек умный и смелый, назвался царевичем Димитрием Ивановичем, чудесно спасенным от убиения, и при помощи поляков, а еще более от ослепления россиян, овладел русским престолом. Кто таков был этот счастливый прошлец? Современные русские летописцы называют его Григорием Отрепьевым, сыном угличского дворянина Богдана, беглым монахом и расст ригою. Многие иноземные современники верили, что он истинный Димитрий. Нет сомнения, что этот прошлец был самозванец и обманщик; но я, соображая все обстоятельства сего чудного происшествия, верю, что он не мог быть Гришкою Отрепьевым, и совершенно соглашаюсь с мнением митрополита Платона, изложенным в его сочинении "Краткая церковная история". Во второй части (изд. 1823 г.) на стр. 168, в главе LXVII, митрополит Платон пишет:

"Утверждая обще со всеми нашими писателями, что Гришка не был царевич Димитрий, но точный самозванец, отваживаюсь изъяснить мое **новое мнение**, что сей первый самозванец не был и Гришка Отрепьев, дворянина галицкого сын, но **некто подставной**, от некоторых хитрых злодеев выдуманный и подставленный, чужестранный или россиянин, или, может быть, и самый Гришка Отрепьев, галицкого мелкого дворянина сын, но давно к тому от злоумышленников приготовленный и обработанный, а не тот, какого наши летописцы выдают; или и тот, но не таким образом все сие дело происходило, как они описывают, утверждая свое описание только на одних наружных и открывшихся обстоятельствах и не проникая во глубину сего злохитрого и огромного замысла".

Доказательства и догадки, представляемые преосвященным Платоном, столь ясны и правдоподобны, что нельзя с ним не согласиться. Всем известно и доказано, что самозванец был не только умный, но и **ученый человек**; знал основательно польский и латин-

---

<sup>1</sup> Некоторые историки говорят, в шестой, а иные – в пятый. См. примечание 554 в IX томе «Истории Государства Российского» Карамзина. (Здесь и далее Булгарин ссылается на 1-е издание карамзинского труда (СПб., 1816–1829) – *примеч. редактора*).

ский язык, историю и науку государственного управления, был искусен в военном деле и необыкновенно ловко управлял конем и владел оружием. Если верить русским летописцам, что он бежал из России и открылся в Польше в 1603 году, в Россию вторгнулся с малочисленной своею дружиной в 1604 году, то невероятно, чтоб в один год он изучился всему тому, что несообразно было с воспитанием бедного галицкого дворянина и познаниями русского монаха. Не только митрополит Платон, но и другие современные писатели верят, что явление самозванца было **следствием** великого замысла Иезуитского ордена, сильно действовавшего в то время в целой Европе к распространению римско-католической веры. Это мнение самое вероятное и основано на многих исторических доказательствах.

Сии-то сомнения насчет рождения самозванца, его воспитания и средств, употребленных им к овладению русским престолом, послужили основой моего романа. Завязка его – история. Все современные гласные происшествия изображены мною верно, и я позволял себе вводить вымыслы там только, где история молчит или представляет одни сомнения. Но и в этом случае я руководствовался преданиями и разными повествованиями о сей необыкновенной эпохе. Вымыслами я только связал истинные исторические события и раскрывал тайны, недоступные историкам. Читатели из приложенных ссылок увидят, где говорит история и где помещен вымысел.

Один отличный иностранный писатель определил исторический роман следующим образом: "Для исторического романа один закон: изображать историю в характерах; разумеется, что, если не будет взаимного согласия между лицами и духом времени, не будет и исторического романа". Мнение сие кажется мне совершенно справедливым, и я последовал ему. Все исторические лица старался я изобразить точно в таком виде, как их представляет история. Роман мой можно уподобить окну, в которое современник смотрит на Россию и Польшу при начале XVII века. Многие исторические лица видны чрез сие окно, но описаны они столько, сколько глаз историка мог их видеть, и по мере участия их в происшествии. Одни действовавшие особы списаны во весь рост, другие представлены в очерке, а некоторые в отдалении. Кто сколько действовал, настолько и вошел в роман. Оттого читатель и не вправе требовать, чтобы все лица, упомянутые в романе, были начертаны вполне. Характер иных развернулся **после** описанного здесь происшествия, другие вовсе не обнаружили характера, достойного описания, и действовали только косвенно <sup>2</sup>. Русский народ изображен также в действии, в таком виде, как он был и как участвовал в событии. В романе моем старался я вывести на сцену политическую и гражданскую жизнь того времени двух действовавших народов: русских и поляков.

Описывая действия, я не мог пренебречь местностями и представил образ жизни действовавших лиц, их нравы, обычаи, степень просвещения, одежду, вооружение, пиры и проч. и проч. Во всем следовал я истории самым строжайшим образом. Большая часть речей взята целиком из истории, а где недоставало к тому источников, там я заставлял лица говорить сообразно с их действием и действовать сообразно с речами, в истории сохранившимися. Сознаюсь, что много было мне труда! Я должен был перечитывать множество книг на разных языках, из коих некоторые писаны устарелым иноземным наречием, делать выписки, справки, заставлять переводить для себя шведские хроники <sup>3</sup> и т. п. Кажется мне, что все описания мои верны, или по крайней мере таковы, как изобразили их современники. Почту

---

<sup>2</sup> О некоторых исторических характерах в большей части читающей публики вкоренилось несправедливое понятие. Таким образом привыкли изображать Бориса Годунова героем. Он был умен, хитр, пронырлив, но не имел твердости душевной и мужества воинского и гражданского. Рассмотрите дела его! Величался в счастье, не смел даже явно казнить тех, которых почитал своими врагами, и в первую бурю упал. Где же геройство?

<sup>3</sup> Устрашась множества ссылок, я иногда не приводил их. Я предпочитал всегда ссылки на Карамзина, когда находил в нем приисканное мною в других сочинениях доказательство, из уважения к знаменитому писателю, и оттого, что он более известен в России, нежели авторы, которых сочинения служили ему источниками.

себя счастливым, если русская публика примет благосклонно труд мой и вознаградит вниманием усердное мое желание представить ей Россию в начале XVII века в настоящем ее виде.

Прошу не приписывать мне никаких мнений. Автор здесь в стороне, а говорят и действуют исторические лица. Я никого не заставлял действовать и говорить по моему произволу, но всегда основывался на преданиях или на вычислении вероятностей. **Так было в самом деле, или иначе не могло быть, судя по прочему,** – вот что руководствовало меня в изложении. Если кому не понравятся характеры, не моя вина. Они были таковы. Мильтона упрекали современники, что он в поэме «Потерянный рай» заставил дьявола хулить Бога. «Если б я заставил его в моей поэме петь хвалу Господу, – отвечал Милтон, – тогда б не было ни дьявола, ни поэмы!»

Читатель должен помнить, что вся ученость тогдашних русских состояла в том, чтоб знать наизусть Священное Писание. Они любили, для выказанья своей учености, вмешивать тексты в свои речи, а для выказанья остроумия прибавляли пословицы. Поляки, напротив того, любили испещрять речи латинскими стихами или изречениями древних историков и моралистов. Это обыкновение я должен был соблюсти в моем романе.

Читатель найдет иногда в моем романе повторение одних и тех же мыслей в разных сословиях или в нескольких совещаниях. Это сделано мною умышленно, ибо я, для разгадки чудесных событий той эпохи, должен был представить в действии не только много лиц, но и разные сословия с их образом мыслей и мнениями. Если б я рассказывал, то мог бы избежать повторов, но я только представил верную картину того века и что где нашел, то и поместил. Частое повторение царского титула при сношениях послов я сохранил как самый ясный отпечаток того века. Это дает другой тон целому делу. Повторяю, что я не рассказываю от своего лица, как было: я только приподнял завесу, закрывавшую прошедшее. Смотрите, судите и не обвиняйте меня в чужих делах и речах! Я отвечаю только как художник. Представляя простой народ, я, однако ж, не хотел передать читателю всей грубости простонародного наречия, ибо почитаю это неприличным и даже незанимательным. На картинах фламандской школы изображаются увеселения и занятия простого народа: это приятно для взоров. Но если б кто захотел представить соблазнительные сцены и неприличия, то картина, при всем искусстве художника, была бы отвратительною. Самое верное изображение нравов должно подчиняться правилам вкуса, эстетики, и я признаюсь, что грубая брань и жесткие выражения русского (и всякого) простого народа кажутся мне неприличными в книге. Просторечие старался я изобразить простомыслием и низшим тоном речи, а не грубыми поговорками. Приятно, если композитор в большое музыкальное сочинение введет народный напев; но он не должен вводить звуков непристойных песен. Пусть говорят что хотят мои критики, но я не стану никому подражать в этом случае, и думаю, что речи, введенные в книгу из питейных домов, не составляют верного изображения народа.

Я не хотел описывать подробностей жизни простолюдинов XVII века, ибо быт их мало изменился. Ныне русский крестьянин знает более вещей и слов, насмотрелся на большее число предметов; в некоторых местах многие из них переменили образ жизни, узнали чай, обулись в сапоги и живут в светлых избах. Но в существе простой народ не представляет исторической разницы с предками своими XVII века. Переменился двор, бояре, дворяне и купечество. Русские дворяне в начале XVII века, в сравнении с нынешними, кажутся людьми другой планеты. Образ жизни, одежда, взгляд на предметы, понятия, язык – все у них было другое. Вот почему и любопытно взглянуть на них в действии.

Быть может, найдутся люди, которые, судя **по-нынешнему**, найдут, что предки их были слишком непросвещенны. Правда, они были необразованны, но умны, сметливы и знали все, чего требовал от них дух времени и тогдашний порядок вещей. Нынешние политические и исторические идеи вовсе были чужды русским тогдашнего времени. Вся политическая добродетель состояла тогда в беспредельной, беспрекословной преданности к царю, к

православной вере и к отечеству; премудрость – в точном исполнении царской воли. И вот разгадка тайны, почему у всех руки опустились, когда самозванец объявил, что он истинный царский сын, законный наследник престола! Некоторые историки, следуя современным летописцам, приписывают успех самозванца **порочности тогдашних нравов**. Это мнение кажется мне несправедливым. От сотворения мира все люди жалуются на испорченность нравов **настоящего поколения**, как то делали и летописцы наши XVI и XVII веков. Правда, возвышение Годунова, к обиде царского рода, возбудило негодование, зависть и несогласие между боярами, что и было также **косвенною** причиною успеха Лжедмитрия. Но главная причина была привязанность народа к царскому племени. Она сделала все чудеса! Итак, русский народ достоин похвалы, а не хулы за приверженность к тому, которого почитал государем законным.

У меня в романе Лжедмитрий не открывается никому в том, что он обманщик и самозванец. Его уличают другие. Иначе и быть не могло по натуре вещей, судя психологически. Если б он объявил кому-нибудь истину, то не нашел бы ни одного приверженца. Каждый русский отвергнул бы с негодованием лжеца, обманщика, прошлеца; даже злой человек не пристал бы к нему, предвидя невозможность успеха и явную опасность. Ни один поляк не пришел бы в Россию с обманщиком свергать с престола сильного и умного Годунова, особенно гордый Мнишех, Вишневецкий, первейшие вельможи сильного государства. Да и можно ли было отважиться на такое предприятие с несколькимистами воинов? Гордая Марина презрела бы подлого обманщика. Мне скажут: почему же поляки признавали Тушинского вора истинным царевичем? Почему гордая Марина согласилась быть женою явного бродяги? Отвечаю: поляки из мщения, за избиение своих в Москве, а Марина из **ложного стыда** и развившегося честолюбия, после царского венчания. Почувствовав сладость власти, утешаясь повинованием прежних своих подруг и равных, Марина не могла уже возвратиться в разряд польских шляхтенки и быть равною другим, когда муж ее объявлен был обманщиком. Вот истолкование этого удивительного попрапия всякого стыда благовоспитанною женщиной! Что же касается до поляков, то они не уважали второго самозванца, явно бранили его, а князь Рожинский несколько раз хотел даже бить его. Но первому самозванцу верили по внушению иезуитов и короля, бывшего их орудием. Второго самозванца употребляли только как орудие к завоеванию России. Я убежден, что самозванец никак не мог никому признаться: он, как умный человек, знал хорошо, что одним сознанием разрушил бы очаровательное здание своего величия. Ничто так не отвращает сердца, как обман, а он имел много усердных приверженцев, людей умных и благородных. Не знающие нравов и обычаев описанной мною эпохи станут, может быть, упрекать меня, зачем я не ввел в роман любви, такой, как изображают ее иностранные романисты, почерпая предметы из истории средних веков. Введением любви в русский роман XVII века разрушается вся основа правдоподобности. Русские того времени не знали любви по нынешним об ней понятиям, не знали отвлеченных нежностей, женились и любили, как нынешние азиатцы. Брак был делом домашним, союзом между двумя родами, расчетом гражданской жизни. Все иностранцы и русские, описывающие тогдашнюю Россию, согласны в этом. У нас сохранились некоторые любовные песни; не думаю, чтоб они были весьма древние, а если в некоторых и говорится о любви, то всегда между простым народом, который имел гораздо более свободы в обращении с женским полом. Господин Успенский в весьма хорошем сочинении своем «Опыт повествования о древностях русских» (часть I, стр. 101), основываясь на Герберштейне, Бухау, Корбе, Майерберге, Петрее, Рейтенфельсе, Таннере, Лизеке и русских историках, говорит следующее: «До времен государя императора Петра Великого предки наши, следуя обыкновению восточных народов, жен своих содержали строго; дочерям не позволяли выходить из домов, и как те, так особливо и последние совершенно удалены были от собеседования с мужеским полом, кроме только ближних родственников, исключая однако ж из сего крестьян и бедных людей.

От сего происходило, что вся честь женщины, а паче девицы, поставляема была в том, чтоб им не быть от сторонних людей видимыми, и женщина или девица невозвратно теряла доброе имя, если видел ее какой-нибудь мужчина, кроме отца, братьев или мужа. В XVI столетии знатные люди из русских жен и дочерей своих не только посторонним, но ниже ближайшим родственникам своим не показывали и в церковь тогда только выходить позволяли, когда надлежало приобщаться Святых Тайн, или иногда, в самые большие праздники».

Как же могли нежиться и изъясняться в любви боярские дочери в начале XVII века?! Известно, что Лжедимитрий был распутен и не дорожил честью женскою. Предание гласит, что он обманул в Польше какую-то девицу, которая преследовала его до конца жизни. Я вывел ее на сцену. В Польше любовь существовала тогда со всеми утонченностями, но между Мариною Мнишех и самозванцем была любовь точно такая, как представлена мною в романе.

Сочинение мое разделено на четыре части, по ходу происшествий, как сохранили их предания. Сперва самозванец появился в Москве при Годунове и пропал без вести. Потом предание гласит, что он странствовал неизвестно где, был у запорожцев и в Киеве. После появился он в Польше и открылся. Наконец вторгнулся в Россию, овладел престолом и был убит. Так разделено и сочинение мое. Кажется мне, что я дал новые формы моему русскому историческому роману, соединив драматическое действие с рассказами и вводными повествованиями. Повторяю: действующие лица у меня – Россия и Польша; завязка романа – история; соединение всех частей – вымысел.

Нравственная цель моего романа есть удостоверение, что все козни властолюбия, все усилия частных лиц к достижению верховных степеней косвенными путями всегда кончатся гибелью пронырливых и дерзких властолюбцев и бедствием отечества; что государство не может быть счастливо иначе, как под сению законной власти, и что величие и благоденствие России зависит от любви и доверенности нашей к престолу, от приверженности к вере и отечеству.

*Мыза Карлова,  
подле Дерпта.  
18 августа 1829.*

## ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Беспольным считаю изъяснять публике причины того ожесточения, с которым преследуются все сочинения мои собратиями моими, русскими писателями. Покорный властям и закону в гражданском отношении, я в частной и литературной жизни моей не творю себе кумиров, не поклоняюсь и не служу им. Люблю правду и высказываю ее смело при всяком случае, печатно и изустно, а в литературе признаю господство не лиц, но изящного и им одним восхищаюсь. Не принадлежащего ни к одной партии литературной, меня преследуют все партии!

По словам моих противников, у меня нет ни малейшего дарования и все сочинения мои никуда не годятся! Это провозглашают они в обществах и печатают в журналах. Да позволено будет мне поусомниться в истине сих приговоров. Внимание беспристрастной русской публики к трудам моим, благосклонность иностранной и неподкупный суд чужеземных литераторов заставляют меня верить, что я не вовсе бездарный писатель и что сочинения мои имеют некоторое достоинство. Самое ожесточение моих противников служит тому доказательством.

Истошив все средства к лишению меня благосклонности публики, противники мои прибегнули к разным нелитературным средствам, из коих одно клонится к тому, чтоб возбудить противу меня народное самолюбие. Замысел великий – но на этот раз не удастся. Они провозглашают, что я в романе моем "Димитрий Самозванец" старался унижить русский национальный характер и возвысить поляков. Этим обвинением думают противники мои сделать меня ненавистным россиянам. Напрасные усилия! Если б даже и было в самом деле так, что в каком-либо сочинении один какой-нибудь народ превознесен был выше русских, то и это не означало бы нелюбви к России. Тацит любил Рим, но чистоту германских нравов представлял в образец римлянам, своим современникам, и не был за это почитаем дурным гражданином. В романах Вальтера Скотта единоземцы его не всегда играют блестящие роли; французы также не разгневались на него за то, что он представил эпоху Людовика XI в черных красках. Картина зависит от времени, в которое она пишется. Этому закону и я должен был повиноваться. Прошу читателя посмотреть, как историки представляют эпоху, которая вошла в состав моего романа, и как я изобразил ее; тогда он удостоверится в чистоте моих намерений.

Карамзин в "Истории Государства Российского" (том XI, стр. 120 и 121) говорит: "Если, как пишут очевидцы, не было ни правды, ни чести в людях; если долговременный голод не смирил, не исправил их, но еще умножил пороки между ими: распутство, корыстолюбие, лихоимство, бесчувствие к страданиям ближних; если и самое лучшее дворянство, и самое духовенство заражалось общею язвою разврата, слабая в усердии к отечеству от беззакония царя, уже вообще ненавистного, то нужны ли были иные, чудесные знаменья для устрашения России?"

Историограф ссылается на современного писателя, келаря Троицкого монастыря Авраамия Палицына, который приводит почти невероятные примеры разврата нравов. Привожу слова сего героя-историка из сочинения его "Сказание о осаде Троицкого Сергиева монастыря от поляков и литвы и о бывших потом в России мятежах":

"В правлении же при сем велицем государе блаженной царе Феодоре Борис Годунов и инии мнози от вельмож, не токмо род его, но и блюдомии ими, многих человек в неволю к себе введше служити, инех же ласканием и дарми в дома своя притягнувше, и не от простых токмо ради нарочита рукоделия или какова хитра художества, но и от честнейших

издавна многим имением и с селы и с вотчины, наипаче же избранных меченосцев и крепких в оружии, и светлы телесы, и красны образом и возрастом излишествующих. Мнози же и инии, начальствующим последствующе, в неволю порабощающе, с кого мощное и написание служивое силою и муками емлюще. Во время же великого глада сего озревшеся вси, яко немощно питати многую челядь, и начата рабов своих на волю отпускаати; инии убо истинно, инии же лицемерством: истинствующие убо с написанием и с заутверждением руки своея, лицемерницы же не тако, но токмо из дому изгонит, и аще к кому прибегнет, той зле продаваем бываше, и мног снос и убытки платяху... Мнози же и того злее сотвориша: имущей чем препитати на много время домашних своих, но восхотевше много богатства собрати, и того ради челядь свою отпускающе... и гладом скончевающихся туне пре-зреша. Бяше же и се зло и лукаво во многих: лето убо все тружаются, в зиму же не имеют где и главы подклонити, и паки в лето в делах зле стражут у господей своих... Дома же великих бояр зле от царя Бориса распуженых и вси раби распущены быша; заповедь же о них везде положена бысть, еже не приимати тех опальных бояр слуг никому же. Инии же сами поминающе благодеяние господей своих и в негодовании на царя пребывающе, но времени ждуще, зле распыхахуся... а иже на коне обыкше и к воинскому делу искусни, сии к великому греху уклоняхуся: во грады бо вышереченныя украинныя отхождаху. И, аще и не вкупе, но боле двадесяти тысящ сицевых воров обретшеся по мнозе времени во осаде в сидении в Колуге и в Туле (уже в царствование Шуйского), кроме тамошних собравшихся старых воров".

"В объядение и пианство велико и в блуд впадохом, и в лихвы и в неправды, и во вся злая дела... Егда гладом наказа нас Господь, мы же не токмо еже к Нему обратитися, но и... злейшая впадохом, и не токмо простию, но и чин священствующих".

После убиения первого самозванца разврат еще более усилился. В томе XII, на стр. 95 и 96, Карамзин говорит: "Злодейство уже казалось только легкомыслием; уже не мерзили сими обыкновенными беглецами, а шутили над ними, называя их **перелетами**. Разврат был столь ужасен, что родственники и ближние уговаривались между собою, кому оставаться в Москве, кому ехать в Тушино, чтобы пользоваться выгодами той и другой стороны, а в случае несчастья здесь и там иметь заступников. Вместе обедав и пиروвав (тогда еще пиروвали в Москве!), одни спешили к царю в Кремлевские палаты, другие к **царику**: так именовали второго Лжедмитрия. Взяв жалованье из казны московской, требовали иного и из тушинской – и получали! Купцы и дворяне за деньги снабдевали стан неприятельский яствами, солью, платьем и оружием, и не тайно: знали, видели и молчали; а кто доносил царю, именовался **наушником**".

Далее на стр. 124 и 125 Карамзин говорит, выписывая из Авраамия Палицына: "Россию терзали свои более, нежели иноплеменные: путеводителями, наставниками и хранителями ляхов были наши изменники, первые и последние в кровавых сечах: ляхи с оружием в руках только смотрели и смеялись безумному междоусобию. В лесах, в болотах непроходимых россияне указывали или готовили им путь и числом превосходным берегли их в опасностях, умирая за тех, которые обходились с ними, как с рабами" – и проч.

На стр. 325: "Но стан московский представлялся уже не Россиєю вооруженною, а мятежным скопищем людей буйных, между коими честь и добродетель в слезах и в отчаянии укрывались!"

Вот как Карамзин, основываясь на современниках, изображает тогдашних думных бояр и царедворцев. Том XII, стр. 276: "Что же сделало так называемое правительство, Боярская Дума, сведав о сем движении, признаке души и жизни в государстве истерзанном?... Донесла Сигизмунду на Ляпунова как на мятежника, требуя казни его брата и единомышленника Захария" и проч. Стр. 209: "Робкие в бедствиях, надменные в успехах, низкие душою, трепетав за себя более, нежели за отечество, и мысля, что все труднейшее уже сделано и что остальное легко и не превышает силы их собственного ума и мужества, ближние царе-

дворцы в тайных думах немедленно начали внушать Василию, сколь юный князь Михаил для него опасен" и проч.

Довольно сих выписок, чтоб доказать, как изображают историки ту эпоху, в которой я поместил действие моего романа. Что же я сделал? По внутреннему убеждению старался оправдать россиян тогдашнего времени и нарушение клятвы Борису Годунову и сыну его, Феодору, приписывал не легкомыслию и развращению нравов, но любви к царской крови и уверенности, что самозванец – истинный царевич, сын Иоаннов. В целом сочинении у меня нет ни одного русского изменника, и самый Басманов представлен человеком, любящим отечество, но увлеченным обстоятельствами. Россияне, утомленные в царствование Иоанна Грозного, упавшие духом при Годунове, радовались появлению царевича, которому приписывали высокий ум и добродетели, и, по моему мнению, не только разногласие в мнениях, но одно чувство, любовь к отечеству, заставляло россиян переходить от одного владыки к другому. Когда обнаружилось, что называвшийся царевичем Димитрием есть самозванец, вельможи и народ оставили его и праведная казнь его постигла. Во всем этом деле нет ничего дурного, а сушая правда. Неужели меня можно упрекнуть тем, что я вывел на сцену некоторых злых людей? Это было бы смешно и странно! Добрые люди не так видны в народных смутах, как злые: они-то действуют, когда горит пламя раздоров! Требовать от писателя, чтоб он выдумывал небывалые исторические характеры для удовлетворения прихотям необразованных читателей, есть дело умов мелких. Описывая эпоху, я оправдывал массу народа, но должен был выставить частные характеры в их настоящем виде. Из хитрого, пронырливого князя Василия Ивановича Шуйского, из свирепого Семена Годунова я не мог сделать добродетельных вельмож! Каждое политическое тело имеет свое время здоровья и недугов. Политический недуг есть разврат нравов и охлаждение в любви к отечеству. До этого доводят государство предварительные обстоятельства. Россия была в недуге при Годунове, и события, приготовившие ее к сему состоянию, изложены мною в речах Басманова (см. часть IV сего сочинения). Великие сильные характеры покоились тогда в летаргическом сне и восстали в 1611 и 1612 годах. Напротив того, Польша была в то время в полном цвете политического здоровья, и, невзирая на слабодушие Сигизмунда, величайшие мужи Польши жили в эпоху его царствования. Должен ли я был утаить это и исказить историческую истину, чтоб льстить самолюбию слабых умов? Не думаю. Я еще для того должен был вывести на сцену знаменитых мужей Польши, чтоб показать, что они противились внушениям иезуитов и что не вся Польша участвовала в деле самозванца. Напротив того, я полагаю делом недостойным писателя тешить народ игрушками воображений, когда представляется случай говорить истину. Основываясь на этом, я не пощадил Сигизмунда, его любимцев и иезуитов и изобразил их в настоящем Цвете, равно как и буйную польскую шляхту. Но я не должен был исказить блистательных польских характеров из угождения самолюбию мелких умов. Да и нужны ли нам эти болотные огни, грубые насмешки над иностранцами, презренное самохвальство, чтоб выставить в блистательном виде Россию? Разве она не искупила временного падения духа веками славы? Разве она не превзошла, не затмила своих соседей? Неужели и после этого надобно еще обращаться с русскою публикою, как с избалованным ребенком, превозносить слабости и недостатки даже в прадедах и унижать чужеземные добродетели? Если б я так думал, то никогда не взялся бы писать для русской публики, а писал бы на иностранном языке, для чужеземцев, выбирая предметы из истории иноплеменников. Но я люблю Россию, уважаю публику нашу и почитаю долгом моим писать истину. Кто лжет и льстит, тот не уважает ни себя, ни того, пред кем лжет и кому льстит.

Меня обвиняют еще в искажении исторических характеров. Другая несправедливость. За это я могу постоять столь же твердо. Некоторые противники (вероятно, слабо изучившие историю) непременно хотят, чтоб Годунов был героем. Он изображен у меня точно таким, как представили его Карамзин и все беспристрастные современники: умным, хит-

рым, коварным, самолюбивым, суеверным, мстительным, а притом слабодушным и робким в бедствии. Не хочу распространять сего предисловия длинными выписками, но прошу заглянуть в "Историю Государства Российского" Карамзина в томе X на стр. 12, 34, 35, 46, 75, 78, 79, 80, 116, 126, 135, 142, 157, 159, 208, 214, 227. В томе XI на стр. 12, 96 и последующие, также на стр. 117, 156, 177, 178. Те, которые хотят считать Годунова героем, пусть вникнут в историю – и заблуждение их рассеется. У Карамзина в т. XI на стр. 156 даже находится особая статья под заглавием "Робость Годунова"! Вместо того чтоб выступить в поле и сразить врага, Годунов посылал тайных убийц в Путивль, а сам молился пред иконами. Вот герой! Некоторые говорят, что Годунов у меня слишком откровенен. В чем же он признается? С кем откровенен? Разве он признался в убийстве Димитрия? – Нет. Разве он говорит о своей мести, злобе? – Нет. Он хочет истребить ненавистных ему бояр и даже своему сыну внушает, что это нужно для блага государства. Он только открывается в горести своей, в подозрениях – и кому же? Жене и сыну! Разве снотолкователю он сознался в своих преступлениях, в своих намерениях? – Нет. Он только рассказывает сон и в минуту слабости открывает душевные страдания свои, не объясняя однако ж причин. Напротив того, летописцы приводят гораздо разительнейшие черты его откровенности. В примечании 221 к т. X "Истории Государства Российского" Карамзина находится выписка из "Морозовского Летописца":

"Призвав к себе волхвов и волшебниц, и вопросы их: **возможно ли вам сие дело усмотрети... могу ли я свое желание получить?.. Буду ли я царем?** Врагоугодницы же ему сказаша: **Истинно тебе поведаем, что получиши желание свое: будеши на царствии Московском, только – на нас не прогневайся...** Он же им рече: **О любимые мои гадатели! Отнюдь не убойтеся меня; ничего иного не получите, кроме чести и даров: только скажите мне правду.** Они же рекоша ему: **Не долго твоего царствия будет: только семь лет.** Он же рече им с радостию великою и лобызав их: **Хотя бы семь дней, только бы имя царское положить и желание свое совершити".** – Вот откровенность! И в какое время? Когда все усилия бояр устремлены были на то, чтоб обвинить Годунова в честолюбивых замыслах. Спрашиваю теперь у моих противников: если б это сказание летописца и было несправедливо, то неужели романисту не должно пользоваться преданиями? Но я в этом случае поступил весьма осторожно и только в семейном кругу позволил изливаться душе Борисовой.

Для доказательства, что характер Годунова у меня верно списан, приведу только три места из Карамзина. В X томе "Истории Государства Российского" на стр. 77 сказано: "Чтобы явно не нарушить данного обещания, Годунов, лицемерно совестный, искал предлога мести, оправдываясь в уме своем злобою врагов непримиримых, законом безопасности собственной и государственной, всеми услугами, оказанными им России и еще замышляемыми им в ревности к ее пользе, – искал, и не усомнился прибегнуть к средству низкому, к ветхому оружию Иоаннова тиранства: ложным доносам". Если Борис научал составлять ложные доносы, то ему надлежало кому-нибудь открываться в своем умысле. Я даже и это покрыл завесою и заставил клеветника его составлять доносы без ведома Бориса Годунова.

На стр. 79: "Спаситель Пскова и нашей чести народной (князь Иван Петрович Шуйский), муж бессмертный в истории, коего великий подвиг описан современниками на разных языках европейских, ко славе русского имени, лаврами увенчанную главу свою предал срамной петле в душевной темнице или яме!" – Не геройский ли это подвиг!

В томе XI, на стр. 156 и 157: "Но, смятенный ужасом, Борис не дерзал идти на встречу к Димитриевой тени: подозревал бояр и вручил им судьбу свою... велел строго людям ратным, всем без исключения, спешить в Брянск, а сам как бы укрывался в столице!" – Величайший признак малодушия!

Пусть поверят читатели, таков ли характер Годунова в моем романе. Люди, которые хотят унижить труд мой, видно, плохо знают историю!

Противники мои не постигли или не хотели постигнуть характера самозванца. Они так разжалобились над участию его, что упрекают меня, зачем я заставил его совершить убийства, которых они не могут доискаться в истории! История наполнена известиями о убийствах, совершенных Лжедимитрием: следовательно, он был человек, который не боялся проливать кровь. Вот главное: я не отступил от истории и не сделал его кровожадным из агнца смиренного. Кого он убил в романе, до этого нет дела критику, ибо по истории известно, что самозванец убивал противников. Характер Лжедимитрия у меня есть постепенное развитие души честолюбивой, которая не терпит никаких преград на предначертанном поприще. Все честолюбцы таковы: любовь, дружба – все приносится ими в жертву главному замыслу. Для этого именно представлено у меня убийство Калерии. Противники мои упрекают меня еще, зачем я представил самозванца ветреным и легкомысленным, непостоянным в любви и дружбе при высоком уме и твердой душе. Таков он был, и если б не ветреность его и не легкомыслие, то он не погиб бы так скоро. Это именно характеристическая черта его. Всем знающим историю известно, что в Туле наступил перелом в его нраве и что, достигнув высоты, голова его закружилась.

На другие упреки не хочу даже отвечать. Некоторые хотят, чтоб мой самозванец был нежным пастушком, и говорят, что это не роман, потому что самозванец то влюбляется, то оставляет любовниц, не женится ни на Ксении, ни на Калерии, как надлежало предполагать, не любит Марины и проч. Кажется, в романе объяснено, что при пылкости самозванца главная страсть в нем была не любовь и что он только искал в ней временного наслаждения, следуя буйным порывам пылкой своей души. Каждый хотел бы, чтоб я написал роман соответственно с его вкусом, а не с моими понятиями о характерах, и чтоб я вел происшествия по известной форме, т. е. напутал известных романических приключений и кончил, как кончаются все романы – веселым пирком и свадебкою! И комедии "Горе от ума" не называют некоторые комедиею, потому что она написана не по правилам, изложенным в курсах литературы. Можно ли упрекать автора, что он погрешил в плане и ходе романа? Этого не скажет ни один критик, понимающий свое дело. План и ход сочинения зависит совершенно от воли автора, и он не обязан отдавать в этом отчета. Что бы вышло, если бы для плана, т. е. для создания воображения, были правила? Тогда бы каждую книгу можно было разгадывать с первой страницы. План может не нравиться критику: это другое дело; – но в этом случае автор не виноват. Не находя обыкновенных романических, устарелых завязок в моем романе и часто встречая известные события исторические, изложенные мною с украшениями, некоторые противники мои говорят, что это не роман, а что-то историческое! Внутренне смеюсь и радуюсь этому оптическому обману! Ибо я именно хотел произвести это впечатление! – Вальтера Скотта упрекают, что он пишет историю в романах, а романы в истории (*qui'il fait l'histoire dans les romans, et les romans dans l'histoire*). Всем угодить нельзя, а тем труднее угодить новым родом. Я никому не подражал, а хотел написать такой роман, в котором бы главные характеры и происшествия были справедливы и все так связывалось и перепутывалось вымыслом, чтоб читатель воображал себе, что он читает настоящую историю того времени или, лучше сказать, видит события тогдашние. По критикам и по толкам вижу, что я успел в своем намерении.

Нет ни одного лучшего романа Вальтера Скотта, где бы не было таких мест, которых бы каждый читатель, по своему вкусу, не находил скучными или длинными. В некоторых его романах, как, например, в "Карле Смелом", вводные повести о духах и проч. занимают чрезвычайно много места и отвлекают от главного предмета. Но все это прощено Вальтеру Скотту, прощены детские ошибки другим русским писателям, а мне не хотят простить ни одного вводного повествования, хотя у меня все они связаны с главным происшествием. У меня почитают важным недостатком то, что восхваляется в Вальтере Скотте, и несколько лишних страничек о древностях заставляют вопиять о педантизме! – Но что говорить об

этом! Если б я даже сочинил такое творение, которое красотами своими затмило бы все, что есть в мире изящного, – собратия мои, русские литераторы, еще сильнее вооружились бы противу меня! На них я никогда не ужогу. Некоторые из знаменитых поэтов, вооружившись с необыкновенным жаром в обществах противу "Выжигина", при объяснении личном должны были сознаться, что они вовсе не читали книги и бранят – так, по внутреннему чувству! Вот как меня судят! По счастью, это не вредит мне нисколько; доказательством тому служит сие **второе** издание романа, напечатанного в первом **двумя заводами**. Вот одно из главных моих преступлений пред писателями и вместе – опровержение несправедливого упрека нашей публике, будто роман, вмещающий в себе историю, политику и философию, есть для нее слишком сильная умственная пища. Если б меня не читали, не покупали моей книги и если б я хвалил беспрестанно тех, которые требуют от меня этого, а главное, если б я не был журналистом и был удален от поприща критик, если б я искал похвал, то меня превозносили бы приверженцы разных партий. Но я хочу остаться в нынешнем моем положении. Пусть ревнивые литераторы бранят меня – а публика читает. Это гораздо приятнее!

*Ф. Булгарин.*

*15 марта 1830.*

*С.-Петербург.*

## ЧАСТЬ I

*Что зло сдеях, свидетельствуйте ми и не жалюся.  
Софийский временник*

### ГЛАВА I ВСТУПЛЕНИЕ

*Совещательная беседа у польского посла, канцлера Льва Сапегу. Таинственный человек.*

*(1600 год, 12 ноября)*

Огни давно уже погасли в домах московских жителей, но на Литовском подворье, в Царь-городе (1), еще не думали об успокоении. В комнате посла, благородного канцлера литовского, Льва Сапегу, собрались на совещание все члены посольства. За большим столом, покрытым зеленым сукном, сидели паны польские и литовские, в молчании ожидая речи канцлера. В другой комнате, возле стола с бумагами, находились два писаря посольства. Один из них занят был чтением бумаг, другой беспрестанно поглядывал на дверь и, приметив, что она не вовсе затворена, встал с своего места, подошел потихоньку к печи и стал внимательно прислушиваться к тому, что говорят в посольской комнате.

– Прошу садиться, князь, – сказал канцлер вошедшему в комнату молодому вельможе. – Мы только вас и поджидали.

– Извините, я снова перечитывал заключение Варшавского сейма и, соображая его с притязаниями Московского царя, вижу, что мы едва ли не понапрасну сюда прибыли, – отвечал князь Ярослав Друцкой-Сокольницкий, сев на своем месте.

– Еще дело не начато, а вы уже сомневаетесь в успехе, – возразил канцлер с кроткою улыбкой. – Правда, что здесь нам не доброжелательствуют: я примечаю, что царь хочет уклониться от заключения вечного мира с Польшею. Но, может быть, здравая политика и благо человечества восторжествуют над кознями врагов нашего отечества, смущающих царя Бориса злыми своими наущениями. Попробуем...

– Не думаю, чтобы мы имели успех, – сказал Станислав Варшицкий, кастелян варшавский. – Давно уже Россия не имела столь мудрого и вместе с тем столь хитрого правителя, как Борис Годунов, который не по праву рождения, но одним умом и коварством достиг царского престола. Этот хитрец слишком хорошо знает несчастное положение наших дел и не легко согласится на заключение мира. Король наш Сигизмунд не хочет уступить прав своих на шведский престол дяде своему, герцогу Карлу Зюдерманландскому, который основывает свои притязания на выборе Шведского сейма. Борис Годунов, также избранный в цари народом, должен поддерживать равные права своего соседа, если хочет, чтоб его собственные права почитались священными и ненарушимыми, вопреки наследственному порядку, который Борис ниспровергнул, удалив от избрания в цари бояр, кровных с царским родом. В герцоге Зюдерманландском Борис имеет верного союзника, который обещает ему уступить часть Ингрии и Карелии, если ему самому удастся удержать за собою Ливонию. С другой стороны, Михаил, князь Волошский, отринутый искатель короны польской, смущает Бориса своими коварными предложениями союза, заманивает в войну против Польши и, в случае вспоможения, обещает уступить ему целую Русь Польскую. Крым страшится могущества России, и Казы-Гирей принял мир, как благодеяние. Неприязненная Польше Австрия

пояныне не отказалась от своих притязаний и намерения возвесть на престол Ягеллов герцога Максимилиана: она не упустит случая ополчить Россию противу Польши. С Даниею Борис намерен вступить в тесный союз родства. Ливонии несносно католическое владычество. Итак, все отношения внешней политики России клонятся к тому, чтоб утвердить Бориса в неприязненном расположении к Польше, которая теперь ослаблена внутренними раздорами, внешнею войною с Швециею, непокорностью казаков, татарскими набегами, происшествиями соседей, – и, скажу откровенно, нерешительностью нашего короля и несогласием дворянства.

– Все это отчасти справедливо, – возразил канцлер, – но вы смотрите на предметы с одной точки зрения и видите одну темную сторону. Правда, Польша не имеет союзников, ослаблена войною и раздорами и требует успокоения; но верьте мне, что и Россия не так сильна, чтоб могла начать борьбу из отдаленных выгод. Дела ее на востоке не столь благоприятны, чтоб она могла свободно действовать на западе. С Персиею Россия в несогласии за грузинского царевича Александра; с турецким султаном ни в войне, ни в мире, однако ж и не в дружбе. На крымскую приязнь нельзя полагаться. Что же касается до Швеции, то хотя Борис сам советовал герцогу Зюдерманландскому объявить себя королем, но он сделал это для того только, чтоб воспрепятствовать соединению Швеции с Польшею и чтоб одним ударом ослабить двух враждебных соседей, а не из любви к Карлу или ненависти к Сигизмунду. Вы видите, как медленно идут переговоры Боярской Думы с шведскими послами. Мне известно, что полномочные герцога Зюдерманландского, Карл Гендрихсон и Георгий Клаусон, также жалуются на упорство Бориса, как и мы. – Канцлер захлопал в ладоши, и дверь отворилась в другой комнате. – Господин Иваницкий, войдите сюда! – сказал громко Лев Сапега.

Писарь, стоявший в безмолвии возле печи, вошел в кабинет посла, поклонился всему собранию и остановился у дверей.

– Объявите всем, что вы знаете о шведском посольстве, – сказал канцлер.

– Говорят, что царь Борис требует уступки Нарвы и что жители Эстонии сами предлагают отложиться от Швеции и присоединиться к России, – сказал писарь.

– Можете удалиться, – сказал канцлер писарю, который немедленно вышел за двери и притворил их тихо. – Видите ли, господин кастелян, – продолжал канцлер, – что и союз Карла с Борисом не так искренен, как вы полагаете. Чрез этого молодого человека, чрез Иваницкого, я узнал много таких вещей, о которых никогда бы не мог догадаться. Он хотя польский дворянин, но греко-российского исповедания, получил первоначальное воспитание у чернецов и посредством их имеет здесь много связей. В его верности и расторопности я имел много случаев удостовериться. Вы знаете, господа, дела внешние, но не знаете внутреннего состояния России. Я не хочу объясняться о предметах, чуждых нашему делу, но, во всяком случае, должен сказать, что положение наше не так отчаянно, как многие из нас думают.

– Напрасно стараются уверить вас, вельможный канцлер, в слабости царя Московского, – сказал Илья Пельгржимовский, писарь Великого княжества Литовского (2). – Едва прошло два года, как целая Европа с удивлением слышала о невиданном доселе ополчении в полмиллиона воинов, которое царь Борис выставил по одному слуху о вооружении Крымского хана! Только одно усердие к царю и внутренняя крепость России могла сделать такое чудо!

– Прошлые времена, почтенный товарищ! – возразил канцлер. – С тех пор и сам царь Борис переменился, и многое изменилось в его царстве. Но что бы ни было впереди, а нам должно скрывать свое нетерпение и досаду и твердо шествовать к своей цели. Во что бы то ни стало мир должен быть заключен, ибо от этого зависит благо нашего отечества, которое требует спокойствия.

– Дурной мир дают даром, а хороший надобно добыть саблею, – сказал, покраснев, князь Друцкой-Сокольниковый. – С тех пор, как мы стали учиться скрывать нашу досаду и как, по примеру итальянских князьков, начали со всеми переговариваться, взвешивать каждое дело на весах утонченной политики, с тех пор соседи наши возгордились и перестали нас бояться. Переговариваться должно при громе пушек, говаривал покойный король наш, Стефан Баторий. Я также думаю, что только тот трактат прочен, который припечатан рукоятью меча победителя на пороге побежденного. Вы говорите, что Польша слаба и истощена. Нет! Слаб король Польский, истощена казна республики, утомлено войско коронное в войне за наследие Сигизмунда; но Польша будет сильна, когда станет сражаться за собственную честь и пользу. По-моему, так дожидаться здесь нечего, и если Борис еще будет томить нас спорами о царских титулах, откладывая со дня на день прием наш и медлить ответом на предложения, то нам должно сесть на коней и возвратиться в Варшаву. Если республика или король откажутся от войны и стерпят обиду, нанесенную Борисом, я сам пойду войною на Москву, подобно польскому дворянину Ласскому, который от своего лица воевал с Римским императором. Разошлю универсалы (3), соберу посполитое рушенье (4), составлю конфедерацию (5) и ударю на Бориса, который своею казною заплатит мне за военные издержки... Вы сами, вельможный канцлер, говорите, что Россия не так сильна, как многие полагают!

– Довольно сильна, однако ж, чтоб расстроить нас на долгое время, – отвечал канцлер, – если мы, не помирившись с Швециею, не успокоив Австрии и не наказав дерзкого Волошского князька, бросимся в войну, не обдумав средств к поддержанию ее. Любезный князь, вы слишком горячо принимаетесь за дело, которое требует величайшего терпения, соображений и хладнокровия. Вы знаете меня, господа, – знаете, что я никогда не уклонялся от войны, что я сам советовал воевать, когда была в том надобность, что я своими собственными средствами держался в Ливонии и принудил царя Ивана Васильевича уступить мне сию страну, купленную им кровью и золотом. Но теперь другое время, и я прошу вас, господа, быть осторожными в речах с москвитянами и иностранцами, не грозить и не жаловаться. Кажется, что я достоин вашей доверенности; итак, предоставьте мне исполнить поручение республики так, как я его обдумал, и, следуя моим советам, дайте мне доказательства того уважения, которое я стараюсь заслуживать. Чрез два дни назначена первая аудиенция у царя Бориса, на которой, сохраняя достоинство нашего народа, мы не должны раздражать москвитян излишнею гордостью и выказыванием нашего превосходства. Вы понимаете меня, господа!

– Делайте, что вам угодно, – сказал Иоанн Сапега, воеводич витебский, – но я согласен с князем Друцким-Сокольниковым, что должно требовать решительно ответа на вопрос: мир или война!

– Мир или война! – воскликнули в один голос Михаил Фронцкевич, Иван Пашка, Петр Дунин и Иван Бо-руцкий.

– Господа! – возразил Андрей Воропай, судья оршанский, – зачем проливать напрасно драгоценную кровь польскую, зачем лишать отечество защитников для приобретения мира, который мы можем добыть нашим терпением и мудростью нашего канцлера! Нам надобно прежде помышлять о том, чтоб усилить наше регулярное войско, укрепить границы замками...

Князь Друцкой-Сокольниковый прервал речь Воропая и сказал:

– Замки не удержат смелого и не спасут трусливого. Рубежи отечества тогда только могут быть безопасны, когда кичливый сосед будет доведен до того, чтоб не смел переступить за черту, проведенную саблею по песку: трактат – бумага!

– Господа! – сказал канцлер, встав со своего места, – прошу вас покорно помнить мои советы и приготовиться к торжественной аудиенции. Маршал Боржеминский представит вам утвержденный мною церемониал. Желаю вам спокойной ночи!

\* \* \*

Литовское подворье состояло из одного большого деревянного дома в два жилья и нескольких изб, построенных рядом на дворе, возле хозяйских зданий. Сии строения обнесены были высоким забором. Сам посол занимал только две комнаты, и в прочих помещались особы, составлявшие его свиту. В доме так было тесно, что два писаря посольства должны были довольствоваться небольшою светелкою на чердаке. Когда все паны разошлись по своим комнатам, канцлер велел писарям удалиться, сказав, чтоб они к утру приготовили нужные бумаги.

Вошедши в светелку, Иваницкий поставил на стол свечу, запер двери и, присев на кровати, сказал:

– Знаешь ли что, Бучинский? Ни посол, ни паны ничего здесь не сделают. Россия не боится Польши и не даст мира за дешевую цену. Наши говоруны кричат, толкуют, горячатся, а никто, кроме канцлера, не понимает дела. Но здесь и для его высокого ума нет простора. Послушай, Бучинский, истинный ли ты друг мой?

– Разве от самой юности я не доказывал тебе этого, разве ты имеешь причины сомневаться? Ты мне спас жизнь в Лемберге, а у меня, брат, хорошая память на долги.

– Итак, знай, что я один в состоянии дать прочный мир Польше.

– Ты! Полно шутить, Иваницкий!

– Нет, я не шучу, любезный друг!

При сих словах Иваницкий встал с своего места, подошел к Бучинскому, который стоял возле стола, и, положив ему руку на плечо, сказал:

– Бучинский, ты знаешь, что я бедный сирота, без роду, без племени, без состояния, сперва воспитанный, ради Христа, русскими чернецами, а после, из милосердия же, приреченный отцами иезуитами и обученный в их школах вместе с тобою. Вот все, что тебе известно! Ты думаешь, что проник в душу мою, постигнул нрав мой и можешь предузнавать все мои желанья, намерения. Ошибаешься, жестоко ошибаешься, друг моей юности! Ты вовсе не знаешь меня. Скажу тебе только, что мне не суждено пресмыкаться в толпе. Поприще мое на земле еще не начертано судьбою: участь моя еще сокрыта от людей. Я, как некий дух без образа, ношусь над бездною, и еще суд Божий не произнес гласно, должно ли мне погибнуть или вознестись превыше земного. Еще не решено, что меня ожидает: проклятия или благословения, поношение или слава! – Иваницкий подошел к окну; лицо его пылало, на глазах навернулись слезы.

Бучинский с беспокойством подошел к своему товарищу и, взяв его за руку, сказал:

– Друг мой, что с тобою сделалось? Не болен ли ты? Иваницкий горько улыбнулся.

– Никогда не имел я такой нужды быть здоровым душою и телом, – отвечал он, – и никогда не был так здоров и бодр, как ныне.

– Итак, объяснись! Что значат мрачные твои мечты, исполинские надежды, загадочные предприятия...

– Друг мой! Судьба вверила мне тайну, от которой зависит участь многих миллионов людей, прикованных к участи одного человека. Теперь я не имею права открыть эту тайну; она принадлежит не мне одному. Между тем, пришло время действовать. Прошу тебя, не изъясляй ни любопытства, ни удивления при всем, что ты увидишь, и оставь меня действовать свободно, не обременяя вопросами, не терзая подозрениями, не вредя изъяснением пред другими сомнения на мой счет. Я буду часто отлучаться, буду иногда казаться тебе странным, непонятным, подозрительным. Но клянусь тебе Богом и честью, что все мои поступки будут клониться ко благу Польши. При этом я должен тебе сказать, что и твое счастье сопряжено с успехом моего предприятия. Помни, Бучинский, что если Богу угодно будет благословить

мое намерение, что если я буду велик, то и ты будешь счастлив моим величием. Я хранитель тайны, которая воскресит мертвых из гробов, подвигнет брата на брата, отца на сына, сына на отца; тайны, от которой тысячи погибнут и тысячи восторжествуют, которая прольет реки крови и рассыплет горы золота, одним словом, в душе моей погребена тайна, от которой изменятся на земле вера, законы, обычаи, поколеблются престолы!

– Иваницкий! Ты приводишь меня в ужас, – сказал Бучинский, пристально смотря в лицо своему другу. – Я опасаясь, чтоб ты не связался с какими-нибудь обманщиками, чернокнижниками, которые, пользуясь пылкостью твоего воображения, будут стараться вовлечь тебя в какие-нибудь ужасные замыслы. Друг мой! Ты можешь заплатить жизнью и честью за свое легковерие.

– Что значит жизнь! – воскликнул Иваницкий. – Стоит ли хлопотать о жизни, когда судьба позволяет мне выбрать из своей урны все или *ничего*? Честь! какие нелепые понятия имеем мы о чести! Завтра будет названо честным, похвальным, славным то самое, что сегодня называется бесчестным, укорительным, постыдным. Друг мой! я с первого слова не скрывал перед тобою опасности моего положения, но эта опасность не коснется тебя, если ты сам того не пожелаешь. Что же до меня касается, я презираю жизнь, смерть и опасности и страшусь только неудачи. Что ты смотришь на меня так пристально? Успокойся. Друг твой не изменит ни чести, ни долгу; напротив того, он исполнит долг свой для чести. Будь терпелив, ты все узнаешь и не только не лишишь меня своего уважения, но будешь чтить более, нежели теперь. Повторяю: не могу тебе открыть тайны и снова прошу, чтоб ты этого от меня не требовал. Я тебе сказал уже, что я поверенный этой тайны – только поверенный, и что участь миллионов людей зависит от моей скромности.

– Бог с тобою, делай что хочешь! – сказал Бучинский. – Я опасаясь одного, чтоб ты неумышленно не ввел в хлопоты нашего посольства и тем самым не повредил делам республики.

– На этот счет будь спокоен, – возразил Иваницкий. – Все обдуманно, все устроено благоразумно. Теперь ты должен мне оказать *первую* услугу. Мне надобно сей час выйти со двора: проводи меня до калитки и запри ее за мною.

– Но ключ у маршала Боржеминского!

– У меня есть другой, – отвечал Иваницкий. – Пора, скоро ударит полночь, надобно одеваться.

Иваницкий выдвинул из-под кровати чемодан и вынул из него монашескую рясу и клобук. – Вот эта одежда спасет меня от всех опасностей, – сказал он. – Эта одежда отворит мне в Москве все входы и выходы и защитит лучше всякого панцыря.

Пока Иваницкий надевал рясу поверх своего платья, друг его, присев в углу, смотрел на него мрачно и с чувством сострадания. Иваницкий заткнул за пояс кинжал, положил в карманы крутицы, или малые пистолеты, потом, накинув на себя плащ, и надев шапку, вынул из-под изголовья своей постели моток бечевки, прикрепил к окну один конец, к которому привязана была гремушка, а другой конец с пулей выбросил за окно.

– Теперь проводи меня, друг! – сказал Иваницкий. – Этот конец бечевки я переброшу чрез забор, чтоб не стучась в ворота разбудить тебя, когда я возвращусь домой. До света я буду здесь. Мой ключ останется у тебя. Ну, пойдем же! Проводи меня.

Бучинский в безмолвии проводил Иваницкого до ворот и, взяв от него плащ и шапку, пожал руку и сказал ему грустно:

– Дай Бог счастливо! – Он притворил потихоньку калитку и поспешно возвратился в свою светелку.

## ГЛАВА II

*Первая искра междоусобия. Мститель, восставший из гроба.*

Осторожно пробирался Иваницкий в темноте по мосткам. Скрип досок под его ногами и лай собак на соседних дворах прерывали тишину мрачной ночи. На конце улицы строился новый дом: здесь лежали кучи бревен и досок. Иваницкий, приблизившись к сему месту, свистнул три раза, и ему отвечали тем же. Вскоре показался из-за сруба человек, также в монашеском платье. Он быстрыми шагами приблизился к Иваницкому.

– Ты ли это, отец Леонид? – спросил Иваницкий.

– Долго заставил ты себя ждать, приятель, – отвечал монах, – воздух сыр, ветер пронзителен; я продрог от холоду. Наши также, верно, беспокоятся, поджидая до полуночи.

– Не моя вина, – сказал Иваницкий. – В посольстве было совещание, и я не мог отлучиться. Но еще до свету много времени, а мы с тобою, отец Леонид, в час сделаем более, нежели другие в сутки.

– Да, мы с тобою! Но не все наши приятели на нас похожи, – отвечал монах. – В эти седые головы не вобьешь толку и молотком. Но поспешим к Булгакову. Берегись: надобно перелезть чрез эти кучи лесу. Рогатки (б) мы не сдвинем с тобою вдвоем.

– Виданное ли дело, чтоб улицы загораживать на ночь рогатками! – воскликнул Иваницкий. – У людей это бывает тогда только, когда город в осаде неприятельской, а здесь, среди мира и тишины, между своими братьями!.. Но Борис Федорович осажден своею совестью на царском престоле и рад бы загородиться от ветра, чтоб он ему не дул в уши вестями из Углича.

– Потихе, брат! – сказал Леонид. – Помни, что здесь ты не в Польше. У нас в самом деле кажется, что ветры имеют уши для подслушивания и язык для доносов.

– Скоро заткнем мы эти любопытные уши и укоротим болтливые языки! – сказал Иваницкий.

Леонид взял Иваницкого за руку и повел чрез бревна. Они скоро скрылись в темноте.

На углу Никитской улицы находился дом боярина Меньшого-Булгакова. В передней избе дубовый стол покрыт был узорчатою скатертью. На столе стояли две большие серебряные стопы с романею, фляга с сладкою водкой, несколько серебряных ковшиков и чарок, солонка, и лежал белый, как снег, папошник. Перед образом теплились три лампы и освещали избу бледным светом. На скамьях и на лежанке сидели верные друзья и родственники боярина Меньшого-Булгакова: князь Иван Андреевич Татев, князь Григорий Петрович Шаховской, дворяне Алексей Романович Плещеев, Петр Хрущов, боярский сын Иван Боршин, дьяк Григорий Акинфиев и чернецы Пимен и Варлаам. Серебряные стопы оставались неприкосновенными и собеседники были погружены в задумчивость. Хозяин похаживал по комнате, с беспокойством прислушивался к дверям и окнам и наконец сказал:

– Не случилось ли какого несчастья с отцом Леонидом? В нынешнее время – добра не ждать! Он обещал открыть нам важную тайну, а мы, как дети, послушались и собрались, не подумав ни о головах, ни о животах наших. Извините, преподобные отцы Пимен и Варлаам, но в делах мирских нельзя твердо полагаться на вашу братью: вы телом и душою служите царю Борису Федоровичу.

– Как подабает каждому православному, каждому русскому, – сказал Пимен.

– Чему учим, тому и последуем, – примолвил Варлаам. – Но к чему твои сомнения, честный боярин? Отец Леонид человек верный, крепкий в слове и твердый в делах. Опасаться тебе нечего; я уверен, что Леонид собрал нас не на измену царю, не на грех перед Богом.

– Ныне казнят не за измену, а по одному подозрению в измене, – сказал князь Татев. – Если царь Борис Федорович узнает, что мы собрались выслушать дело, которого он не знает, то и довольно, чтоб попасть в опалу, а может быть, как говорит Булгаков, и заплатить головою за неуместное любопытство.

– Голове и без того не вековать на плечах! – сказал князь Шаховской, – а чему быть, того не миновать. Волка бояться, в лес не ходить.

– Тебе хорошо так говорить, князь Григорий! – сказал боярин Меньшой-Булгаков, – ты один, как перст, без отца, без матери, без семьи. Жизнь твоя собственный твой пенязь. Но на наших душах лежит ответ перед Богом и людьми за безвинных малюток, за жен, которые пойдут с сумою по миру!

– Не понимаю, отчего на вас напал такой незапный страх! – воскликнул дворянин Петр Хрущов. – Мы собрались к тебе, дядя, попить – и дело с концом. До сих пор Борис Федорович не запретил нам есть и пить у родных и приятелей. Здоровье государя, Царя Бориса Федоровича!

Хрущов взял тяжелую стопу, выпил вина и подал ее хозяину, примолвив:

– Прочти, дядя, надпись на своей посудине: пей, не робей!

Булгаков перекрестился, выпил вина и, поставив стопу на стол, сказал:

– Не робел я в битвах с крымцами и литовцами, не оробею и теперь: но страшнее смерти опала царская, которая отнимает кусок хлеба у семьи и лишает чести пред соотчичами!

– Темная ночь принесла тебе черные мысли, Никита Петрович, – сказал Пимен. – Вот и я пью здоровье царя Бориса Федоровича. Да подаст ему Господь долгоденствие!

– Подай сюда стопу, отче Пимен, – сказал Варлаам, – и я провозглашу царское здравие.

Серебряные стопы с романею обошли кругом при восклицаниях многолетия царю Борису и возвратились на стол пустыми.

В это время послышался стук у ворот. Собеседники вскочили с мест своих, хозяин побежал за двери. Через несколько минут он возвратился с двумя монахами. Один из них был отец Леонид, а другой Иваницкий в монашеской одежде.

– Простите мне, отцы и братья, что я неумышленно заставил долго ждать себя, – сказал Леонид, переступив чрез порог, перекрестясь сперва перед иконами и поклонившись на все стороны, – я должен был отыскать моего товарища, которого вы видите перед собою. Это инок Острожского монастыря на Украине, в вотчине Польского короля Сигизмунда, который позволяет православию процветать в своей державе. Если вы верите мне, отцы и братья, верьте брату Григорию, как самому мне: он русский верою и душою и любит мать нашу, Россию, более жизни, чтит ее первую после Бога и святых его угодников. Он вам поведает дело великое...

Иваницкий низко поклонился на все стороны и молчал.

– Отче Леонид! – воскликнул Варлаам, – ты пришел к нам с верою, любовью и надеждою, а некоторые из нас почитают тебя Иудою; думают, что ты или предашь нас подозрительности царской, или предложишь дело, противное верности нашей к царю...

– Этого никто не говорил! – возразил Булгаков.

– Малыми словами часто обнаруживаются великие замыслы, – промолвил Пимен. – Здесь не говорено этого слова в слово, что сказал Варлаам, но сомнение и недоверчивость уже давно подернули сердца, как туман покрывает воду перед восхождением солнца.

– Говорено было не об отце Леониде, – сказал Булгаков, – но вообще обо всех нас. И кому ныне можно вполне доверять!

– Тому, кто чтит Бога и любит отечество более жизни и всех благ мирских. Тому, кто верен долгу и присяге, – сказал Леонид. – Я пришел не смущать вас в верности к царскому роду, но утвердить в ней. Да погибнет всякий предатель царской крови, всякий злоумышлен-

ник противу власти, Богом установленной! Так, прежде нежели я открою вам тайну, которая возрадует сердце ваше, как возрадовало народ Божий избавление из неволи египетской и пленения вавилонского, вы должны мне дать клятву и утвердить ее крестным целованием, что каждый из вас не пожалеет ни крови, ни живота, ни роду, ни племени для утверждения на престоле Рюриковом роду царского и что в случае, если б у которого из вас недостало охоты или смелости на доброе дело, тот будет молчать о том, что услышит, и не откроет дела ни в пытке, ни от прельщения. Вы сомневались во мне, но я доверяю вам и требую от вас крестного целованья, единственно для спасения душ ваших, чтоб вы, по нескромности или по дьявольскому наваждению, не изменили делу святому и не подвергли себя мщению небесному.

– Но если это дело царское, то зачем он не избрал своих любимцев для хранения тайны, столь к нему близкой? – сказал князь Татев. – Тебе известно, отче Леонид, что мы все, собравшиеся здесь мирские люди, если не в явной опале, то, по крайней мере, не любимы Борисом Федоровичем и лишены наших мест и в войске, и в Думе. Если ты поверенный царский, то лучше бы сделал, когда б отыскал других людей на Москве, более любезных Борису Федоровичу. Я хотя не имею никакого злого умысла противу моего государя, но не хочу служить ему иначе, как по явному его повелению. Не желаю знать твоей тайны.

– Вот что дельно, то дельно, – примолвил князь Шаховской. – Если царю Борису Федоровичу угрожает какая беда тайная или если ему привиделось какое злосчастье, у него много ратных и думных людей и без нас.

– Зачем нам целовать крест в другой раз на верность? – примолвил Булгаков. – Мы уже раз присягали ему и служим и терпим, как умеем и как сможем.

– Высокие бояре! давно ли вы пили за здравие царя Бориса Федоровича? – сказал с улыбкою Пимен.

– И опять выпьем, если угодно; но на тайные службы для него не готовы, если не получим от него приказу, – возразил Хрущов.

– Я до сих пор молчал и слушал, – сказал дворянин Иван Борошин, – но теперь позвольте и мне объясниться. Отче Леонид! я знаю тебя давно, многократно слышал от тебя речи, вовсе противные тому, что нам говоришь теперь. Буду откровенен: не однажды ты приводил меня в страх в наших тайных беседах твоими смелыми суждениями о средствах, употребленных царем Борисом Федоровичем к достижению престола, и о делах его царствования. Ныне ты являешься к нам для объявления важной тайны, с которою, по твоим словам, сопряжено благо России и наше собственное, и начинаешь увещанием быть верными и преданными царю Борису Федоровичу. Воля твоя, отче Леонид, но ты и мне даже кажешься подозрительным, особенно введением чужеземца и незнакомца в нашу беседу.

– Закон и совесть повелевают знать прежде о том, в чем должно целовать крест: человек отвечает пред Богом и людьми только за добрую свою волю, за дело обдуманное, – примолвил дьяк Акинфиев.

– Все ли вы высказали? – сказал Леонид, тихо улыбнувшись. – Если все, то позвольте и мне говорить в свою очередь. Я вам говорил о верности и преданности к царской крови: это долг каждого русского, каждого честного человека, желающего спасения душе своей; но уста мои не произнесли имени Бориса Федоровича. Не правда ли?

– Изъяснись, ради Бога, изъяснись! – воскликнул Булгаков.

– Целуйте крест на верность и молчание, тогда все узнаете, – сказал Леонид хладнокровно, вынул из-за пазухи распятие и поднял его вверх. Несколько минут продолжалось молчание.

– Поклянись прежде ты с своим приятелем, пришельцем, что ты не изменяешь нам, не кривишь душою и действуешь по правде и по совести, – сказал Булгаков.

– Клянусь именем Бога, в Троице Святой единого, что скорее пожелаю погибели душе моей, нежели помышлю изменить вам и вовлечь вас в измену, – сказал Леонид, – да поможет мне во всем Господь Бог, так как я искренен с вами.

Иваницкий повторил клятву и поцеловал крест после Леонида.

– Быть так! – воскликнул князь Шаховской. – Клянусь сохранить в тайне все, что здесь услышу и увижу, и если изменю клятве, да предаст меня Господь Бог на мучения временные и вечные! – Шаховской перекрестился и поцеловал крест.

– Куда ты, князь Григорий Петрович, туда и я: хоть в огонь, хоть в воду, – сказал Хрущов, произнес клятву и поцеловал крест.

– Не нам сомневаться в верности нашего брата, – сказал Пимен и также поцеловал крест с Варлаамом.

– Ты был мне друг, отче Леонид, – примолвил Борошин, – и клятва твоя рассеяла во мне все подозрения. Я твой.

Все целовали крест и все произнесли обет, кроме хозяина, князя Татова и дьяка Акинфиева. Булгаков сидел на скамье и смотрел пристально на князя Татова, который стоял в отдалении от толпы и, сложа руки на груди, спустя голову, погружен был в думу. Все собеседники снова замолчали и посматривали на двух бояр и умного дьяка, которые, казалось, хотели от них отложиться. Наконец князь Татов, как будто воспрянув от сна, приосанился, перекрестился, подошел в молчании к Леониду и, произнеся клятву, поцеловал крест.

– Любезный сват, Никита Петрович! – сказал князь Татов Булгакову, – вспомни, что ты нас созвал к себе в дом, в круг верных друзей: тебе ли оставаться за нами, когда мы все целовали крест на верность и молчание?

– Благослови Господи! – воскликнул Булгаков, встав с своего места, – но мне все кажется, что мы затеяли что-то недоброе и что я виноват, послушавшись тебя, отче Пимен. Но ворочаться поздно. Да исполнится святая воля твоя, Господи! – Булгаков перекрестился, произнес клятву и поцеловал крест. Дьяк Акинфиев сделал то же.

– Теперь дело решено! – сказал Леонид. – Молю Бога, да ниспошлет святому делу счастливый конец, подобный началу. Садитесь, отцы и братья; вы тотчас услышите тайну, которая хранилась на небе для блага земли русския, как питательная манна, оживившая народ Божий в пустыне. Но прежде прошу тебя, Иван Степанович, обойди вокруг окон и посмотри, нет ли где за углом подслушника царского. В нынешний век правда есть преступление, а жизнь наша нужна для славы и счастья отечества.

Дворянин Борошин вышел за двери по приглашению Леонида, а собеседники заняли места на скамьях. Леонид велел Иваницкому сесть в углу, и, когда Борошин возвратился в избу и также присел, Леонид выступил на середину и, обращаясь ко всему собранию, сказал:

– Отцы и братья! Клятва налагает вечное молчание на ваши уста и разверзает мои на правду. Буду говорить пред вами столь же нелицемерно и смело, как думаю в уединении, в стенах моей кельи. Знаю всех вас до единого, знаю сокровенные ваши помышления и потому должен быть откровенен: выслушайте терпеливо и после делайте, что вам угодно.

Верность к царям есть потребность души русской и обязанность высшая, нежели чад к родителю. Сказано бо есть в послании святого апостола Павла к римлянам: "Всяка душа властем предержажим да повинуется. Несть бо власть аще не от Бога" (7). Доколе россияне свято исполняли сию обязанность, благословение Божие покоило землю русскую по водворении в ней света истинной веры. Когда же Богу угодно было испытать Россию бедствиями, первую и видимою к тому причиною было междоусобие удельных князей, повлекшее предков наших к буйству, изменам, непослушанию. Иго татарское, язвы, голод и падение знаменитых городов были следствием наших преступлений. Восстало единодержавие в земле русской, и Россия снова оживилась и укрепилась.

Для испытания нашей верности и твердости Господь ниспослал нам двух грозных владык в лице двух Иоаннов, деда и внука: мы вытерпели грозу, и отечество наше расцвело и возвеличилось, как тучная нива после засухи, упитанная проливным дождем, ниспавшим во время бури. Могущественная Россия утешалась потомством Иоанновым, отраслями великого древа, осеняющего все престолы земные, которого корень начинается от римского кесаря Августа. С родом Рюриковым соединены были все славные предания наши, и в венце Мономаховом блистали, краше перлов и яхонтов, великие дела российских венценосцев. Сему славном) Рюрикову племени обязаны мы и святою нашею верою, и бытием России. Но Господь Бог, любя Россию, испытует ее как древле свой народ Израильский, чтоб сделать нас достойными приуготовляемой для нас славы и могущества. К самому корню древа кесарева прилег ядовитый змей, на пагубу юных отраслей. Царевич Димитрии Иоаннович в младенчестве являл величие Иоанново и кротость Феодорову: на него устремлен был первый удар злоумышления. России и целому миру известен гнусный умысел на погубление царственного отрока. Знает Россия, что у паря Феодора Иоанновича родился сын, который был подменен младенцем женского пола (8), и когда любовь россиян излилась на сию мнимую отрасль Рюрикова рода, она сокрылась в могиле, пожравшей прежде того истинного наследника Феодорова. О, россияне, отцы мои и братья! Горестно мне вспоминать пред вами сии бедствия нашего отечества, еще горестнее сознаваться, что в России нашлись изменники и душегубцы, посягнувшие на священную кровь, драгоценнейшую крови Авелевой! Утешаюсь одним: что первая причина сих злодейств – не русский родом, но свирепый татарин, питавшийся плотью христианскою с извергом Малютою Скуратовым, злым духом Иоанновым; что этот душегубец, этот Аман русского царства – Борис Федорович Годунов! (9)

Слушатели пришли в движение: некоторые вскочили с мест своих и схватились за шапки, другие стали креститься.

– Противу условия и вопреки присяге, отче Леонид! – воскликнул Булгаков. – С нами сила крестная! Ты ввергаешь нас в бесполезную погибель!

– Повторяю: выслушайте терпеливо и делайте что хотите, – возразил Леонид. – Господь Бог хранит Россию: он прикрыл небесным щитом своим благороднейший плод Рюрикова колена и пересадил его в землю соплеменную, чтоб Россия, образумившись, вкусила сладость наследственного самодержавия. Промысел Вышнего сохранил для нас радость, счастье и надежду: царевич Димитрий Иванович – жив!

Все слушатели пришли в ужас: страх и недоумение изобразились на лицах.

– Да воскреснет Бог и расточатся враги его! – воскликнул князь Татев, распростершись пред иконами. Помолвившись, он встал с земли, подошел к Леониду и, положив ему руку на плечо, сказал:– Если лукавый говорит твоими устами для соблазна нас, грешных, будь ты, анафема, проклят! Если же язык твой произнес истину, тогда, как говорит Писание: "И будет тебе радость и веселие, и мнози в рождестве его возрадуются" (10).

Прочие собеседники пребывали в безмолвии и оцепенении, как громом пораженные. Леонид, возвысив голос, продолжал:

– Если я вам сказал неправду, да прилпнет язык к гортани моей, да погибнет тело мое на земле в горести и душа в вечных мучениях. Повторяю вам слова пророка Варуха: "Аще не послушаете в тайне, восплачется душа ваша от лица гордыни и плача восплачет. и изведут очи ваши слезы, яко сотрено есть стадо Господне (11).

Когда я удостоверюсь в истине, – сказал князь Татев, – тогда первый лягу костями за моего законного государя.

– Ему принадлежат наши головы и животы! – сказал князь Шаховской.

– Смерть и гибель всякому противнику рода Рюрикова! – воскликнул Хрущов.

– Пусть он явится пред нами, и мы станем за него грудью! – сказал Борошин.

– Отче Леонид! – сказал Булгаков, – речь твоя, как червь, впиалась в мое сердце. Верить – нажать беду, не верить – можно согрешить перед Богом и погубить душу свою!

– Почему же нам не верить крестному целованию брата Леонида? – возразил Пимен. – Уста его никогда не осквернялись ложью, и он давно уже отрекся от мирской славы и суеты для спасения души своей и моления за прегрешения мира сего. Что говорит, то говорит для добра нашего, чтобы, как сказано в Писании: "Освободишься же от греха, поработитесь правде" (12).

– Каким же чудом спасся царевич от смерти, которую давно уже оплакала целая Россия? – спросил князь Татев. – Объясни нам все, чтоб правда утвердилась в сердцах наших, как вера в нетление праведных.

– Это расскажет вам товарищ мой, брат Григорий, – сказал Леонид. – Он слышал повесть злочлукений от самого царевича (13) и пришел от него возвестить верным сынам России о чудесах Господних.

При сих словах Иваницкий, который во все это время сидел безмолвно, сложил руки на груди, встал с своего места, поклонился на все стороны и сказал:

– Так! Я посланник законного царя к его верным людям, к сынам избранным! Ежели грех и соблазн одолели землю русскую, я готов претерпеть смерть за истину, но да возвещу ее во услышание праведным! Внимайте.

Когда Борис Федорович Годунов, владея добрым, но слабым сердцем царя Феодора Иоанновича, умыслил известить его племя, то для совершения своего злодеяния, как вам известно, выслал вдовствующую царицу Марфу Федоровну с царевичем Димитрием и ближними их в город Углич. При царевиче находился тогда иноземный лекарь Симон. Борис чрез своих клеветников предлагал Симону золото и почести, чтоб он опоил юного царевича зелием. Господь Бог наделил сего иноземца мудростью и добродетелию. Он притворно согласился известить Царевича, чтоб тем предохранить его от всякой другой измены, и убедил кормилицу Димитрия Иоанновича, Ирину Жданову, также изъявить мнимое согласие на погубление царственного отрока для обоюдной предосторожности. Опасаясь жалоб царицы, нескромности и пылкости братьев ее, Нагих, Симон и Жданова сокрыли от них пагубный замысел на жизнь царевича. Между тем Борис Федорович Годунов, как лютый тигр алкая невинной крови и болея жизнью царевича, выслал в Углич злодеев, Битяговского и Качалова, чтоб они немедленно извели Димитрия – силою или хитростью. Изменники отправили вперед своих верных людей в Углич, чтоб высмотреть и выведать все касающееся до невинной жертвы и тем облегчить средства к ее гибели. Один из холопей Битяговского тронулся юностью и добросердечием царевича и, вняв голосу совести, открыл Симону близкое исполнение ужасного замысла. Мудрый Симон, зная ум и твердость своего питомца, приуготовил его к страшному событию. Он сказал ему, что злые люди составили замысел на жизнь его, что для избежания смерти и для отвращения от целой России греха царубийства, нужны смелость, скромность и постоянство – и царственный отрок доказал, что он рожден для управления великою державою. Он удивил даже своего наставника решительностью и пронизательностью зрелого мужа в годах отрочества и отвечал, что, поручая судьбу свою Богу, не усташитя убийц и смерти. Настала страшная минута исполнения богопротивного замысла. Прибыли в Углич Битяговский и Качалов с своими клеветниками и по совету холопа, обратившегося на путь истинный, внушенного верным Симоном, положили умертвить царевича ночью. Во двор к царевичу приходил для детских игр иерейский сын Сенька, бедный сирота, призренный приходским священником. Сей отрок, одних лет и одного роста с царевичем, избран был Симоном для спасения кровью своею священной крови Рюриковой. Царевич, по наущению Симона продолжая игры до позднего вечера, велел сироте остаться у себя ночевать, поменялся с ним рубахою и положил его в одну постель с собою, не зная вовсе, для какой причины. Утруженный детскими забавами сирота вскоре погрузился в

глубокий сон, но царевич, уstraшенный рассказами доктора, не смыкал глаз. В полночь он услышал тихие шаги убийц, встал с постели и спрятался за печью. Два злодея с ножами вошли в почивальню, погасили лампаду, теплившуюся перед образом, будто уstraшаясь лика Божиих угодников и, как плотоядные враны, устремились на добычу. Изверги перерезали горло несчастному сироте, поранили лицо и оставили нож в руках его, чтоб заставить думать, будто царевич сам умертвил себя в припадке сумасшествия. Димитрий Иванович в своем убежище слышал хрипение бедной жертвы, голоса убийц, едва не лишился чувств от ужаса и соболезнования, однако ж пребыл тверд слову, которое дал Симону, – молчал и оставался недвижим. Наутро вошли в почивальню царевича служители, чтоб разбудить его к обеду, и увидели кровь, стекшую с постели на пол. С воплями горести бросились они к постели и нашли убиенного отрока с обезображенным лицом в узорчатой рубашке царевича. Они приняли его за Димитрия. Вскоре вопли и плач раздались в палатах и достигли до смиренных жилищ углицких граждан. Несчастливая мать лишилась чувств при первом воззрении на окровавленное тело, не узнав обмана, и убийца Битяговский, под предлогом жалости удалив всех ближних от зарезанного отрока, велел положить его немедленно в приготовленный накануне гроб и перенести в церковь. Но глас Божий возгремел гласом народным – и верные граждане углицкие отместили за кровь невинную избиением злодеев. Ужас и смятение возникли в городе и в палатах царицы. Верный Симон воспользовался замешательством, вывел на другую ночь царевича из сокровенного его убежища и, переодевшись странствующим купцом, вышел тайно из Углича и скрылся в лесу (14).

Благородный Симон знал все тайны несчастного Царевича. Он ведал, где хранится небольшой ящик с золотыми деньгами, которые покойный Иоанн подарил, по обычаю, на зубок новорожденному. Симон, пользуясь всеобщим смятением при вторжении народа в палаты царицыны, взял сей ящик, единственное наследие гонимого царевича. Он купил в ближнем селе лошадь с телегою и, не будучи никем узнан, ниже преследуем, достиг благополучно Киева. Удрученный трудами, летами и болезнью, Симон остановился в сем городе.

Известны всем последствия углицкого дела. Борис представил царю Феодору Иоанновичу, что царевич сам поднял на себя руки. Безмолвная Россия поверила тому, в чем желали ее уверить, ибо Борис Годунов один говорил с народом посредством грамот от имени царя, синклита и духовенства и никто не смел возвысить голоса вопреки его хитросплетениям. Внушению царицы и братьев ее, Нагих, приписали убийство злодеев, посягнувших на жизнь царевича, и представили их мучениками за правду. Верных граждан углицких сослали в ссылку или казнили смертью; ближних царевича и кормилицу Жданову тайно погубили, заставив прежде утвердить все, чего сами желали. Князь Василий Иванович Шуйский, гонимый Годуновым, нарочно был выслан на следствие в Углич. Борис, будучи уверен, что ему нельзя повредить у царя, и желая избавиться от опасного врага и соперника, испытывал князя Шуйского. Но хитрый князь Василий Иванович постигнул это и, зная, что было бы бесполезно доискиваться истины, представил дело в том виде, как угодно было сильному врагу, и сим мнимым раболепством купил себе милость душегубца. Борис думал, что все кончил благополучно, прикрыв свое злодеяние всеобщим молчанием. Язык можно оковать страхом, но мысль не боится насилия и, как нетленное зерно, рано или поздно приносит плод. Россия вскоре узнала о злодейском умысле царского любимца, вскоре увидела, к чему клонилось сие злодеяние, когда дерзкий потомок татарского мурзы воссел на русском престоле, в обиду родам княжеским, единокровным с племенем Рюриковым и ближним кровным покойного царя. Чувствует и сам Борис Федорович беззаконие своего владычества и мучит себя подзрениями, а добрых россиян ссылками, опалою и казнями, вопреки своей торжественной присяге при венчании на царство! Но Господь Бог, блюститель счастья России, сохранил мстителя во гробе, на котором Борис утвердил свой престол! Доктор Симон, чувствуя приближение своей кончины, вверил судьбу царевича одному странствующему иноку Острож-

ской обители, пришедшему в Киев поклониться мощам святых угодников. Отшельник отец Иона был мудр и добродетелен. Он остался при Симоне до его кончины и, похоронив его честно, увел с собою юного царевича и представил настоятелю монастыря как безродного польского дворянина нашего закона. Иноки укрепили юношу в правилах православной веры и добродетели, поселили в нем охоту к книжному учению, и отец Иона, как первый попечитель сироты, отдал его в школу, где польское благородное юношество обучается всем наукам, насажденным на земле самим Богом для славы и величия человека. Я учился в сей школе вместе с ним, снискал его дружбу, и он в излишнии сердца открыл мне тайну своего происхождения. По совету отца Ионы, уже нисшедшего в могилу, я пришел в Россию, чтоб узнать, сохранилась ли в русских сердцах любовь к царскому роду, с которым сопряжены все знаменитые воспоминания России; чтоб разведать, найдет ли он верных слуг, если потребует у похитителя своего наследия и законного права – благодетельствовать отечеству. Вот вам, верные россияне, любезные мои единоверцы, знак, вверенный мне царевичем для убеждения вас в истине слов моих и законности моего поручения. Этот алмазный крест надет был на царевича при крещении князем Иваном Мстиславским. Между вами, вероятно, есть такие, которые помнят это событие. Крест сей делан в Москве немецким мастером Иоганом Стриком, жившим на Сретенке. На сем драгоценном кресте начертаны имена царевича, его крестного отца, год и число рождения, а на оболочке, в которую вделаны дорогие камни, вырезано имя художника. Смотрите, и если не верите, спросите живых свидетелей. Крест сей есть грамота неба: подпись царевича ни к чему не служила бы, ибо вы ее не знаете.

Иваницкий при сих словах подал князю Татеву крест и отступил от собравшихся в толпу собеседников, наблюдая пристально все их движения.

Князь Татев долго и внимательно рассматривал крест, передал его Булгакову, который, взглянув на сию святыню, приложил ее к устам, перекрестился и сказал:

– Клянусь пред Богом и сим крестным целованием утверждаю обет: жить и умереть верным моему господину и государю Димитрию Иоанновичу!

Все единогласно повторили присягу и крестное целование. Булгаков продолжал:

– Я сам видел этот крест на царевиче пред отъездом его в Углич; видел, когда он принесен был к князю Мстиславскому немецким мастером, и с первого взгляда узнал его. Пусть погибну телом от мщениа Бориса, но хочу жить душою в вечности и не изменю законному царю. Аминь.

– Теперь вы прозрели, почтенные князья и бояре! – сказал Леонид. – Итак, помните, что благо России, царевича и ваше – на конце языка вашего. Верность и молчание!

– И смерть изменнику! – воскликнул князь Шаховской.

– Смерть изменнику! – повторили все присутствующие.

– Не довольно молчать, надобно действовать, – сказал князь Татев, – не должно вверять никому тайны, но необходимо потребно разглашать под рукою о здравствовании царя законного и готовить народ к его пришествию.

– Справедливо, но теперь не время, – возразил Леонид, – нам известны некоторые обстоятельства, которые повелевают молчать до поры. Я скажу, когда надобно будет начать действовать...

– Воля ваша, – подхватил Булгаков, – но если князь Василий Иванович Шуйский не будет знать о избавлении царевича и если, узнав, не захочет нам содействовать, то мы ничего путного не сделаем. Один князь Василий Иванович силен между боярами, невзирая на немилость к нему Бориса; силен уважением синклита, духовенства и любовью именитого московского купечества и народа. Князь Василий производил следствие в Угличе и, верно, знает многое, что принужден теперь скрывать. Его свидетельство и содействие было бы важнее сильной рати!

– Так я думал и думаю, – отвечал Леонид. – Но предоставьте это дело времени и небу. Бог образумит князя Шуйского. Ручаюсь вам, что князь Василий будет первым поборником царевича Димитрия Иоанновича.

– Скоро начнет светать, а мне нельзя долее здесь оставаться, – сказал Иваницкий. – Простите, верные и избранные сыны отечества, первые слуги законного государя! До свидания! По первому призыву отца Леонида – явлюсь пред вами.

Все бросились обнимать Иваницкого, и Леонид взялся проводить его до дому.

– А мы останемся здесь до заутрени, – сказал Хрущов, – чтоб не подать подозрения, встретясь с недельными (15) на улице. Ныне должно опасаться своей тени; а особенно тому, кто вписан в черную книгу Бориса Федоровича, подобно нам, грешным. Приляжем на чем попало, и если слуги твои застанут нас здесь, то подумают, что водка и романея свалили нас с ног.

– Умно и осторожно! – примолвил Булгаков, – постойте-ка, я сыщу что-нибудь подостлать каждому под бока и в голову. Ради такой вести можно пролежать и целую жизнь труженически, на голой земле.

## ГЛАВА III

### *Внутренность царских палат. Сновидения. Снотолкователь.*

В девичьем тереме Кремлевских палат сидели красные девицы, подружки и прислужницы царевны Ксении Борисовны, и вышивали золотом и шелками узорчатые ширинки, повязки, фаты, стройно напевая заунывную песню. Царевна, сидя на дубовой скамье, покрытой богатым ковром персидским, низала жемчуг; у ног ее любимая ее карлица вошила шелк. Подружки поглядывали украдкой на царевну, чтоб угадать и немедленно исполнить ее желания. Но Ксения в задумчивости, казалось, ничего не видела и не слышала; часто драгоценная жемчужина долго оставалась в белых ее руках, пока она вздумает продолжать работу; часто взоры красавицы отворачивались от рукоделья, и слабый вздох вылетал порою из девственной груди. Наконец царевна встала, отдала шелковый платок с жемчугом карлице и вышла из светлицы.

Няня царевны, Марья Даниловна, вдова думного дьяка Воронихина, была нездорова и не выходила из своей горницы. Невзирая на увещания самого царя, царицы, на просьбы своей питомицы, она не хотела следовать советам немецкого врача и принимать зелия, приготовленные руками иноверца, почитая это смертным грехом. Марья Даниловна сидела на своей высокой постели, обложившись подушками, и перебирала четки киевские. В углу комнаты стояла старая служанка, сложив руки накрест.

– Каково тебе, няня? – спросила царевна, вошедши в светлицу.

– Легче, гораздо легче, мое дитятко, милостию Божиею и заступлением его святых угодников. Поправь лампаду и подлей масла, Настасья, пред образом Николая Чудотворца! Разве ты не видишь, что светильня нагорела в поплавке? Ступай в сени и дожидайся, пока тебя кликнут. – Служанка, поправив лампаду, вышла, и няня осталась одна с царевною.

– Ах, нянюшка, зачем ты не хочешь принять зелия от немецкого доктора? Ведь он исцелил батюшку, и сам святейший патриарх не гнушается немецкими лекарствами.

– Вольному воля, а спасенному рай, мое дитятко: не государю и не патриарху отвечать за мою душу перед Богом. Да не кручинься обо мне, мое ненаглядное солнышко! Мне теперь гораздо лучше, и мой лекарь, чернец, которого ты третьего дня видела у меня, обещал, что я чрез неделю встану с постели. Ведь ты не сказывала никому, ни государю родителю, ни матери царице о посещении чернеца?

– Не говорила и не стану говорить, когда тебе неудобно.

– Спасибо, милая! Благослови тебя Господи. Да здорова ли ты сама, моя родимая? Ты что-то крепко бледна сего дня. Твою головушку слишком много мучат книжным учением, как будто, прости Господи, тебе быть дьяком!

– Ах, няня! если б ты знала, как весело книжное учение! Смотришь на бумагу и видишь все, что делалось и что делается в свете; взглянешь на расписной лист – и перед тобою вся земля с царствами, городами, реками, горами! Нет, нянюшка, книжное ученье для меня радость, а не скука.

– Все дьявольское прельщенье, мое дитятко, все сила нечистая! – сказала няня.

– Вчера братец Федор Борисович толковал мне из немецкой книги про одно большое немецкое государство, которое называется Франция. Там женщины наряжаются, как павы, в перья разноцветные и показываются в люди не только с открытым лицом, но и с открытою грудью и руками по локоть; пляшут под музыку, даже в царском дворце, вместе с мужчинами; гуляют с ними рука об руку; разъезжают одни в колымагах и рыдванах. Все это изображено росписью на листочках. Братец сказывал, что в этой земле жить очень весело.

– Не верь, моя голубушка, не верь! Все это наущение немецкое, которому поддались и родитель твой, и брат, спаси Господи душу их! Охти мне, грешной! Уж и тебе прочат в женихи немецкого князя, как будто на святой Руси не стало добрых молодцев. Не дай Бог мне дожить до этого соблазна!

– Какой же тут грех и соблазн, нянюшка, что князь Датской земли хочет жениться на мне, с соизволения и с благословением родителей и святейшего патриарха? Ведь и прежние царевны выходили замуж за чужеземцев и отпускаемы были в чужие далекие земли. Мой жених хочет креститься в русскую веру и остаться в России.

– Правда твоя, милая, отдавали русских княжен в замужество в чужие земли за иноверных королей, да не вышло из этого ничего доброго. Погибли с тоски, бедненькие, как пересаженные цветики, как осиротелые голубицы. Не видала православная Русь ни деток их, ни внуков. Твой жених обещает креститься в русскую веру; да разве у нас нет князей, рожденных в православии? По мне, так страшно верить и крещеным и некрещеным папистам.

– Да ведь мой жених не папист, а христианин учения Лютерова, как говорил батюшка.

– Все равно, милая. Все-таки раскольник, а не православный.

– Не правда ли, что он пригож, нянюшка? Сказывают, что он такой ласковый, такой умник, и притом храбр и искусен в военном деле. Он был на войнах и прославился во всех землях. – Царевна позвала служанку: – Настасья! сходи в мою почивальню и скажи карлице Даше, чтоб принесла сюда мой зеленый ларец и ключи. – Старая служанка вышла за двери, и царевна продолжала: – Дай, полюбуюсь при тебе, нянюшка, моим суженым! Братец сказывает, что образ его написан весьма искусно и похож на него, как две капли воды. Ах, нянюшка, я почти всю ночь не спала!

– Что с тобою было, дитяtko? Спаси Господи и помилуй!

– Мне до полуночи виделся страшный сон. Казалось, будто бы мой суженый вел меня за руку к алтарю в Успенском соборе. Вокруг стояли бояре, духовенство и народ. Отец мой, матушка, брат и все ближние держались за руки и шли за мною; а тебя не было с нами, нянюшка. В церкви раздавалось божественное пение и было так светло от множества свеч, как среди бела дня. Вдруг загремел гром, заревел ветер, и церковь потряслась. Пение умолкло, свечи погасли, жених опустил мою руку и исчез. Одна только лампада перед образом Богоматери освещала храм. В ужасе и трепете я оглянулась, но не нашла ни родителей, ни брата. Бояре, духовенство и народ отворотились от меня и стали закрывать лица кто шапкою, кто полою платья, кто руками. Мне сделалось страшно! Хочу кричать и звать родителей, но голос замер; хочу бежать к народу – ноги с места не двигаются. Гром сильнее загремел, земля затряслась, расступилась, и показался гроб. Из него выскочил ужасный змей с венцом на голове, бросился на меня, обвился вокруг и хотел увлечь в могилу; но вдруг опять загремел гром, блеснула молния, и громовая стрела от образа Богоматери ударила в голову змея. Он пал мертвый к ногам моим; я очутилась на краю могилы в черной одежде... и проснулась!

– С нами сила крестная! – сказала няня, перекрестясь. – Молись, постись и принеси покаянье, мое дитяtko? Этот сон не предвещает доброго! А укусил ли тебя змей?

– Нет, нянюшка, только сжал, а вреда не сделал.

– Тем хуже! – возразила няня. – Если б змей укусил тебя во сне, то значило бы, что лукавый хотел сделать зло, да не мог. Гром – страшные вести; церковные свечи – похороны; сладкое пение – плач; черная одежда пред алтарем – монастырское житье. Венчанный змей – никогда об этом не слыхивала! Уж не немецкий ли это князь?

– Неужели все сны сбываются, нянюшка? Братец говорил, что он вычитал в книге, что сон, так же как мысль, не предвещает ни доброго, ни худого. Вздумается и привидится, неведомо как и от чего, а всему причиною кровь и то, как что виделось наяву и слышалось от других. Братец мне много толковал, да, признаюсь, я не все поняла. Он говорил много

всякой всячины, как будто какой доктор, а кончил смехом, примолвив, что снотолкователи велят верить снам наоборот; итак, мой страшный сон должен обратиться в радость.

– В каждом слове братца твоего, царевича Феодора Борисовича, все немечина да немечина! – воскликнула няня. – Не губи души своей, мой светик, и слушайся нас, старых людей. Господь Бог иногда карает детей за грехи родителей и праведных предостерегает снами и знаменьями. Бывают сны от Бога, милая. Это стоит и в Писании. Отврати беду от себя или от ближних постом и молитвою. Слушай меня: ведь ты знаешь, что я люблю тебя более жизни. Ты чиста и непорочна, как агнец; Господь Бог услышит твою молитву.

У Царевны навернулись слезы на глазах. Она присела на кровати и закрыла лицо белым платком. В это время вошла Настасья, и за ней карлица Даша с ларчиком.

– Отврати взоры от земного и подумай о Боге, мое дитяtko, – сказала Марья Даниловна царевне. – Вели отнести ларец на прежнее место. Что ты увидишь нового в образе твоего немецкого князя? Вот какое время! Когда нас отдавали замуж, мы не знали, не видывали женихов До свадьбы; а ныне сманивают и соблазняют царевен писаными образами, да хотят еще, чтоб они перед венцом подружались да слюбились с сужеными! Господи, воля твоя! Привелось дожить до преставления света!

– Даша! отнеси назад ларчик и скажи девицам, чтоб шли по домам и по своим светлицам, – сказала царевна карлице, – я хочу остаться одна в моем тереме: мне нездоровится. Только не сказывай об этом никому. – Карлица вышла в одну дверь, а Настасья в другую.

– Выкушай мятного настою, – сказала няня царевне, – это хорошо после бессонницы, а на ночь испей крещенской водицы. Пуще всего не думай о мирском и засни с молитвою. Увидишь, что отдохнешь спокойно и встанешь весела и здорова.

Царевна встала с постели и собиралась идти в свой терем.

– Куда, милая, так рано? – сказала Марья Даниловна, – еще теперь только начинает смеркаться. Посиди у меня. Скоро придет мой лекарь, чернец, он рассеет твою кручину. Слова его сладки, как мед, и ум озарен благодатью Божию. Он также много выходил по чужим землям и видел много всяких диковинок: был в Иерусалиме, в не-мечине и во всех папских государствах; на Афонской горе изучился от греческих монахов лечению недугов и всякому знанию.

– Признаюсь, нянюшка, что мне страшно глядеть на этого чернеца. Он хотя и молод, но в лице его что-то суровое. Он так ужасно, так пристально смотрел на меня своими серыми глазами.

– Я не заметила ничего страшного, ни сурового в лице монаха, – возразила няня. – Куда как зорки ныне глаза у красных девиц! Уж ты знаешь, что у него серые глаза?

– И рыжие волосы, которых я также боюсь, по твоим же словам, – примолвила царевна.

– Не всякое лыко в строку, дитяtko! Есть злые и добрые люди всякого цвета и волоса. В писаниях говорится о многих златовласых угодниках и поборниках веры. Впрочем, чего тебе бояться при мне, моя голубушка? Настасья, подай свечу!

Служанка поставила свечу на стол и едва успела запереть двери за собою, они вдруг отворились и вошел чернец с длинными четками в руках, с книгой под мышкою. Он остановился у порога, помолился пред иконами и поклонился царевне и ее няне.

– Подойди ближе, святой отец, – сказала Марья Даниловна, – и присядь на этой скамье. Царевна позволяет; не правда ли, моя родимая?

– Милости просим, – отвечала царевна, смотря на рукав своей ферязи.

Монах приблизился к кровати, сел на скамье, взял больную за руку и, смотря ей в глаза, сказал:

– Слава Богу! Он услышал грешные мои моления и возвратил тебе здоровье. Вот последнее лекарство: шесть порошков. Принимай с водою по одному утром натошак и вве-

черу, ложаюсь спать. Только не изволь кушать рыбного и берегись холода, как я прежде ска- зывал.

– Спасибо тебе, добрый отец Григорий! Я почти совсем здорова, только не могу крепко держаться на ногах.

– Все будет хорошо, только будь терпелива и поступай по моим советам, – отвечал монах.

– Святой отец! – сказала няня, – ты обучен книжной мудрости и проник в тайный смысл писаний, сокрытый для нас, грешных мирян. Скажи, должно ли верить снам?

– Как не верить тому, чему верили мудрецы и патриархи? – отвечал монах, посмотрев на царевну, которая побледнела, как полотно. – Особенно достойны примечания сны, види- мые людьми, поставленными Богом выше других человеков. Невидимые силы действуют более на душу порочную или на существо добродетельное и невинное. Люди обыкновенные не подвержены влиянию случаев чрезвычайных; они бредут, как стадо, протоптанную сте- зею от колыбели до могилы.

– Царевна видела страшный сон, – сказала няня и принялась рассказывать его со всеми подробностями. Монах слушал со вниманием, пристально смотрел на царевну, кото- рая сидела на кровати, потупив глаза, и когда няня довела повествование до того места, где венчаный змей является из гроба, монах не мог скрыть своего внутреннего движения и воскликнул:

– Судьба расторгает завесу!

Няня кончила рассказ и перекрестилась; монах опустил голову и сидел в безмолвии, как погруженный в глубоком сне; наконец он быстро поднялся со скамьи и, всплеснув руками, сказал жалобно:

– Небесный гром поразил венчанного змея! – Потом, помолчав немного, примолвил: – Но он был венчан – этого довольно!

Царевна, видя впечатление, произведенное рассказом сна в монахе, пришла в ужас и, не имея сил удержать внутреннее волнение, горько заплакала. Старуха испугалась и стала ласкать свою питомицу. Монах пришел в себя, принял хладнокровный вид и сказал:

– Страшен сон, да милостив Бог! Напрасно ты кручинишься, царевна! Сон твой предве- щает тебе блистательную участь, славнейшую и завиднейшую участи целого твоего семей- ства. Будут вести страшные, наступит время дел великих, будет кровопролитие в земле пра- вославной, но ты, царевна, останешься невредимою. Ты будешь женою мощного владыки и в венце царском, в любви супружеской, в нежности материнской забудешь терновый путь, по которому достигнешь до последней ступени земного счастья и величия. Утешься, царевна, и верь мне; верь, что никакое зло не коснется тебя и что ни единая царевна не будет так возвеличена, как ты, Ксения Борисовна!

– Что же значит отсутствие родителей и близких во время опасности? Что значит, что народ, бояре и духовенство отвернулись от меня? Что значит гроб, змей? – сказала царевна, взглянув на монаха.

– По закону естества дети переживают родителей; бояре и народ поворачиваются силою обстоятельств в разные стороны, как легкая хоругвь ветром; гроб означает различное, но для тебя из этого гроба возникнет величие. Змей, по толкованиям древних волхвов, зна- чит премудрость, а венец – княжеское достоинство.

– Но что станет с моими родителями, с братом? Неужели я их переживу? – спросила царевна, всхлипывая.

– Сон твой, царевна, касается до одной тебя. Судьбы Вышнего неисповедимы, – отве- чал монах. – Но ты вредишь своему здоровью напрасною, преждевременною кручиной, – примолвил он. – Позволь мне, как доктору, прикоснуться к твоей руке, чтоб узнать состоя-

ние твоей крови. – Не дожидаясь ответа, монах подошел к царевне и смело взял ее за руку, устремив пронизательный взор на прекрасное ее лицо.

– Святой отец! – воскликнула царевна, – рука твоя – как огонь, и ты крепко жмешь мою руку. Оставь меня в покое!

Монах опустил руку царевны, краска выступила на бледном лице его. Он взял кувшин с водою, налил в хрустальную чашу, вынул из-за пазухи белый порошок, всыпал в воду и, подав царевне, сказал:

– Выпей это: кровь твоя успокоится, голова облежится, и тяжесть спадет с сердца.

Царевна отвела тихонько рукою предлагаемую ей чашу и сказала:

– Спасибо! мне запрещено пить всякие зелья от чужих людей без ведома моей матери царицы.

– Выпей, дитятко! – сказала няня. – Неужели ты сомневаешься в искусстве отца Григория после того, что он сделал со мною? Я тебя люблю не менее твоей матери.

– Не стану ничего пить, – возразила царевна и встала с постели. Монах, не сказав ни слова, перекрестился и выпил приготовленное питье, которое было густо и бело, как молоко.

– В странствиях моих я видел много красавиц, – сказал монах, – но не видал такой ангельской красоты, как твоя, царевна Ксения Борисовна. – При сих словах царевна покраснела, а няня улыбнулась и весело посмотрела на свою питомицу. Монах продолжал: – В черных очах твоих изображается душа нежная, непорочная, чуждая всякого земного соблазна. Откуда же закралось в нее подозрение, отвращение от помощи, предлагаемой человеком, который пролил бы кровь свою для твоего здоровья и счастья... предлагаемой... иноком!... – Он не мог долее говорить: смущение пресекло слова его.

– Не подозрение, но уважение к воле родительской заставляет меня отвергать всякий совет и помощь без их ведома. Впрочем, я совершенно здорова и не нуждаюсь в лекарствах, – сказала Ксения ласково. Монах молчал и горестно смотрел на царевну. Глубокий вздох вылетел из груди его.

– Не гневайся, отче Григорий, – сказала няня, – она еще дитя, и если обидела тебя, то без всякого умысла.

– Не гнев, но горесть терзает сердце мое, – отвечал монах.

– Прости, отче мой, если я невольно тебя огорчила! – примолвила царевна, взглянув ласково на монаха, у которого лицо пылало. Он хотел что-то сказать, раскрыл уста и остановился. Сильное смущение выражалось во всех его чертах. Наконец он возвратился на свое место, сел и, помолчав немного, сказал тихо и спокойно:

– Царевна! ты создана не огорчать, но радовать сердце. Да пребудет над тобою благословение Божие! Должно повиноваться воле родителей. Но различные страны, чрез которые я проходил, имеют различные обычаи, и во всех европейских государствах женский пол давно уже причислен к человеческому роду и признан одаренным от Бога волею и разумом, как пол мужской. Только в одной России сохраняется варварский обычай наших древних покорителей татар, обычай почитать женщину бессловесным существом, рабынею в доме родителей и супруга. В Англии царствовала королева Елисавета с такою же славою, как у нас Иоанн. Повсюду сама невеста выбирает себе жениха, и муж советуется с женою, как с другом, а не как с прислужницею. Сердцу и уму дана полная свобода...

Вдруг двери терема быстро растворились, и карлица Даша, вбежав опрометью, сказала вполголоса: "Государь! Государь!" Марья Даниловна испугалась; царевна не знала что делать, а монах, схватив книгу и четки, побежал к противоположным дверям, но в сию самую минуту царь Борис Федорович вошел в комнату. Монах остановился и поклонился до земли государю.

– Кто осмелился войти в царский дворец, в девичий терем без моего ведома? – сказал государь грозно, бросив гневный взгляд на монаха и на уstraшенную няню.

– Прости, государь! – воскликнула Марья Даниловна, сложив поднятые вверх руки, – недуг одолел меня, и я, чтоб служить тебе верою и правдою, должна была призвать лекаря.

– > Я посылал к тебе несколько раз моего немецкого врача Фидлера, но ты не хотела слушать его советов и принимать от него зелия, – сказал государь, не трогаясь с места.

– Помилуй, отец государь! – сказала няня, – я скорее умру, чем соглашусь принять что-нибудь от иноверца. Оставь волю душе моей, она во всем другом предана тебе и твоему семейству.

– При всей твоей преданности, при всем усердии ты можешь повредить моей дочери внушением ей своей вздорной ненависти к чужеземцам, между которыми я имею верных и полезных слуг и даже... но об этом поговорим после.

– Я не мешаюсь не в свои дела, православный государь-батюшка, – сказала няня, – и научаю мою питомицу одному: быть послушною Богу и воле родительской.

– А сама для примера преступаешь мою волю, – возразил царь. – Ты знаешь, что я строжайше запретил, чтоб кто-либо входил во дворец без моего ведома.

– Без вины виновата, прости и помилуй! – воскликнула няня и залилась слезами.

– Кто ты таков, из какой обители? – спросил государь монаха.

– Я странствующий инок Острожского монастыря святого Василия, православный государь, – сказал монах. – По обету я ходил в Иерусалим поклониться гробу Спасителя и говеть на Афонской горе. Оттуда прошел в Киев и наконец захотел помолиться святым угодникам в первопрестольном граде, в столице православия, и зашел в Москву, где молюсь ежедневно с братьею о здравии и благоденствии твоём, великого государя.

– Давно ли ты в Москве и в первый ли раз? – спросил царь.

– В другой раз, и теперь проживаю здесь не более месяца, – отвечал монах.

– Кто ввел тебя в царские палаты?

– Я принес письмо и дары Марье Даниловне от киевского архимандрита Анастасия. Нашед ее в недуге, взялся вылечить и успел при помощи Господней.

– Где же ты научился лечению?

– В обители, в которую я был отдан в юности для обучения.

– Откуда ты родом? как тебя зовут? из какого ты звания?

– Зовут меня Григорием; я из русских дворян, роду Отрепьевых.

– Где ты проживаешь в Москве?

– Нам ли, грешным отшельникам, иметь постоянное убежище! Дни провожу по церквям, питаюсь иногда за монастырскою трапезою в Чудовом монастыре или подаянем благочестивых людей; а ночую где Бог пошлет, то у своих братьев, то по дворам у добрых людей.

– Зачем же тебе сидеть с чужим человеком, дочь моя? – спросил царь Ксению, стараясь смягчить гневный голос.

– Государь-батюшка! Я... я пришла навестить няню; в это время пришел отец Григорий... я хотела уйти... после того он стал мне толковать сон... я осталась, – отвечала царевна прерывающимся голосом в сильном беспокойстве.

– Что такое, что такое! – сказал государь, возвысив голос, – толковать сон! Ты толкуешь сны, отче Григорий?

– Государь! Во время пребывания моего на Афонской горе один престарелый монах, знающий еврейские, арабские и халдейские письмена, открыл мне правила, которыми руководствовались древние патриархи и священники иудейские при толковании снов. Ручаться за истину не могу, но говорю, чему обучен.

– Ступай за мною, отче Григорий, – сказал государь ласково. – Ты, Марья, успокойся, я на тебя не гневаюсь и ради твоих лет и недуга прощаю первое упущение твоей обязанности. Только смотри, чтоб это было в первый и в последний раз.

Сказав сие, царь Борис Федорович вышел из комнаты, и монах последовал за ним, поклонясь няне и царевне. Затворив двери няниной светлицы, царь остановился и сказал монаху:

– Будь смелее и ничего не бойся. Я вижу, что ты человек умный и ученый, а я люблю таких людей, особенно в духовном звании. Мне хочется с тобою посоветоваться, пойдём в мою палату. Я награжу тебя своею милостью, если ты будешь со мною откровенен и скромен.

Монах низко поклонился и отвечал:

– Готов служить тебе, как могу и как умею. Государь прошел с монахом чрез терем и спустился по лестнице во внутренние свои покои. Вошед в свою рабочую палату, или кабинет, Борис Федорович запер двери, зажег у образной лампы две свечи, поставил их на стол и сел в большие дубовые кресла. Монах между тем жадными взорами осматривал комнату, в которой мудрый царь трудился над управлением обширного государства. Стены обиты были кожаными венецианскими обоями зеленого цвета с золотыми узорами. Вокруг стен стояли скамьи с красными бархатными подушками, обшитыми золотым галуном. Передний угол занят был образами в золотых окладах, с драгоценными камнями. В другом углу находился дубовый резной шкаф с книгами. Вдоль противоположной стены стоял длинный дубовый стол, на котором лежали кучи бумажных свитков. Небольшой стол, перед которым сидел царь, покрыт был зеленым бархатом с золотою бахромой и галунами; на столе лежало несколько книг, раскрытая Библия, оправленная в серебро, и писчая бумага; посредине стояла большая серебряная чернилица. Царь сидел в молчании и, положив руку на стол, рассеянно перевертывал листы в Библии, затрудняясь, чем начать разговор. Наконец он подозвал ближе монаха и сказал:

– Верить ли ты в сны, отче Григорий (16)?

– Государь! Ты сам тверд в Писании и знаешь, что бывают сны от Бога. Я верю снам, когда при них внушается вера, когда сны как будто чрез светлый покров представляют будущее, опираясь на прошедшее. Бывают сны от Бога, государь!

Царь задумался и потом сказал:

– Справедливо, отче Григорий, справедливо! Как могуществен человек властью, от Бога ему врученного, и как слаб, оставленный своим собственным силам! Царства и рати движутся по одному мановению человека, ниспровергаются грады и твердыни, а бедное сердце не слушается разума! – примолвил уныло Борис Федорович и замолчал, потупив взоры. Монах стоял перед ним в безмолвии и пожирал его глазами. Лицо инока изменялось, и он нарочно утирался рукавом своей рясы, чтоб скрыть свое смущение. Царь Борис перебирал листы в Библии, молчал и посматривал то на монаха, то в книгу, а наконец сказал:

– Отче Григорий! ты как инок должен принимать слова мои в виде исповеди и как врач должен быть также скромнее после совещания с больным. Кому же и верить, к кому прибегать мирянину в горести, если не к отшельникам как не к пастырям церкви? Мои врачи – иноземцы: они не могут принимать такого участия в недуге русского царя, как врач русский, как служитель православной церкви. Мне нужен врач! Я точно болен, и недуг мой – вот здесь! – Борис Федорович указал на сердце.

– Не знаю твоего недуга, государь, но клянусь, что каждое слово замрет в ушах моих и никогда не оживет на языке, – сказал монах. – В удостоверение тебя в неизменности моего обета целую крест с гроба Спасителя. – При сих словах монах приложился к кресту на четках. Борис Федорович пристально посмотрел на монаха и в задумчивости не сводил с него неподвижных глаз своих.

Мрачный взгляд царя Бориса привел в трепет монаха. Он хотел говорить и остановился; потупил взоры и дрожащею рукой перебирал четки. Несколько минут продолжалось молчание.

– Ты толкуешь сны, отче Григорий! – сказал протяжно царь Борис, не сводя глаз с монаха. – Я видел ужасный, страшный сон, который трое суток мучит, терзает меня, не дает покоя ни днем ни ночью. Я хотел бы не верить снам, отче Григорий.

Монах, заметив уныние государя, ободрился и отвечал:

– Каков сон, государь! Иным должно верить: они служат предостережением от великих несчастий.

– Ты прав, совершенно прав, отче Григорий. Я видел сон с субботы на воскресенье, на заре, перед тем временем, когда привык пробуждаться; сего дня третьи сутки...

– С субботы на воскресенье, на новом месяце: важный день! – примолвил монах. – Что ж ты видел, государь?

– Страшный сон, сон ужасный. Мне снилось, будто в один жаркий день, в июле месяце, я лег отдохнуть в верхнем жилье моих Кремлевских палат. Внезапный холод пробудил меня. Глухой шум поражает слух мой. Иду к окну и вижу, что снег покрыл землю выше кровель. Люди выгребаются из-под снега с воплями отчаяния, ветер ревет и холодным дыханием губит тысячи – но солнце ярко светит на небе. Тревога взволновала душу мою: бегу искать семью и нигде не нахожу. Нижнее жилье завалило снегом, твердым, как лед. Стужа проняла меня до костей. В отчаянье бросаюсь я в окно, смешиваюсь с толпой народа; вижу моих приближенных, царедворцев, жалостно спрашиваю: где жена моя, где мои дети? Меня не узнают или не хотят знать и дерзко отталкивают. Жалость замерла в душах. "Жгите чертоги царские, жгите храмы Божьи!" – вопиют со всех сторон; но при всем усилии невозможно развести огня! Вся природа потеряла живительную силу, всякая пища и питье, оледенев, превратились в камень. Люди стали бросаться на своих братии, как бешеные звери, и пожирать живьем друг друга. Подхожу к одной толпе и – о ужас! – вижу, что изверги сосут теплую кровь из жены и детей моих! Хочу броситься на злодеев – но седой старец удерживает меня за руку. "Поздно, Борис, все свершилось! – сказал он, – страшная наука для тебя, сильный земли! Видишь ли солнце: оно ясно светит на небе; оно не потухло, но утратило теплоту свою – и мир погиб! Горе рабам, если любовь к ним угаснет в сердце их господина; горе господину, если сердце его остынет..." Старец хотел продолжать, но вдруг пронзительный, болезненный вопль моего детища, моего милого Феодора, раздался в ушах моих; дыханье сперлось в груди моей, ум помрачилось, я вскрикнул и – проснулся!

Царь Борис подпер рукою голову, облокотившись на стол, и задумался. Монах также молчал и внимательно наблюдал царя.

– Не правда ли, отче Григорий, что сон ужасный? – сказал царь, не переменяя своего положения.

– Ужасен и, если позволишь сказать, не предвещает доброго, – отвечал монах.

– Говори, говори все, что ты думаешь, – сказал царь, – не бойся ничего: думай вслух передо мною.

– Государь! великое бедствие угрожает роду твоему и более всех – тебе!

– А России? – спросил государь, прервав слова монаха.

– России! – сказал монах и задумался. – Россия, – продолжал он медленно, – также претерпит бедствие, но она нетленна и, как адамант в огне, очистится в смутах. Господь Бог не попустит, чтоб заглохла последняя гряда, на которую пересажено с востока животворное древо православия; он не разгонит последнего стада избранных агнцев, и не даст их на съедение лютым волкам. – Монах остановился и, помолчав, примолвил: – Но он может переменить вертоградяра, может вверить избранное стадо другому пастырю...

– Что ты говоришь? – воскликнул царь Борис громким и грозным голосом, – что ты смеешь произнести в моем присутствии!

– Ты позволил мне думать вслух, государь! – отвечал монах. – Я так думаю, соображая все обстоятельства твоего сна.

– Переменить вертоградяря, переменить пастыря! – воскликнул Борис. – Зловещий вран! не думаешь ли ты, что у меня можно исторгнуть скипетр? что меня можно лишиться венца Мономахова? Нет, нет, никто не дерзнет прикоснуться к ним – пока я жив!

– Государь! я вовсе не думаю о тебе; не пророчествую, но толкую сон по твоему велению. Все мы слепы и немощны пред Богом. Писание гласит: "Не хвались в утрии, не веси бо, что родит находяй день" (17). Жизнь царя в руке Господней, как последнего из рабов его, – отвечал монах хладнокровно. По мере беспокойства Бориса монах ободрялся и становился смелее.

– Престол российский отдан Богом посредством воли народной роду моему и поколению, – сказал государь уныло тихим голосом.

– Всякий человек из земли создан и в землю обратится, – отвечал монах. – Прах и тлен слава мира сего. "Все время, и время всякой вещи под небесем. Время раждатися и время умирати: время садити и время исторгати сажденное" (18).

– Я хочу, чтоб ты толковал мне значение каждого видения, а не делал своих заключений преждевременно, – сказал государь гневно, но тихо. – Что значит солнце, лишенное теплоты своей?

– Солнце – Царь естества, – отвечал монах. – Различные породы животных от человека до неприметного глазу насекомого, все растения от кедра ливанского до мелкой плесени, все ископаемые от алмаза до простой глины живут, прозябают или образуются в недрах земли теплотою солнца, душою вселенной. Нет теплоты – нет души, нет жизни! Государь! ты видел во сне старца, который истолковал тебе страшное видение. Этот старец – судьба твоя!

– Боже мой! – воскликнул Борис, – меня ли можно упрекать в холодности, в нелюбви к моему народу? Не я ли посвятил все дни мои попечению о благе России: отказался от всех земных радостей для тяжких трудов государственного управления? Все мои помышления клонятся к славе, к благоденствию России... Можно ли ко мне относить слова старца, виденного мною во сне? Подумай хорошенько, отче Григорий! Верно, роковые слова старца и самое видение имеют превратный смысл?

– "Мерила лъстивья мерзость пред Господем: вес же праведный приятен Ему", – сказано в притче Соломоновой (19), – отвечал монах. – Ты мне повелел говорить правду; не хочу лицемерить. Слушай и мужайся: "От плодов правды снесть благий" (20).

– Говори, говори, Бог с тобою! – воскликнул Борис, закрыв лицо руками.

– Не делами гласными, но любовью измеряет Господь сердце. Скажу тебе быль. В храм монастыря Афонского приходили ежегодно с дарами два грека. Один из них был богат и в милости у правителя области. Он предал неверным соседа своего, оклеветав его в злоумышлении пред престолом султана, и получил за сие знатную часть достояния погибшего безвинно единоверца. В златотканых одеждах, с гордостью входил предатель во храм, и слуги его, одетые богато, приносили драгоценные дары к удивлению всего народа, который, не зная ни источника богатства кичливого грека, ни цели его приношений, хвалил и прославлял его. Другой грек, в бедном одеянии, приносил на своих плечах в храм только десятую часть того, что ему оставалось лишнего от трудов его, а девять частей раздавал втайне бедным. На Страстной неделе, когда богатый грек, раздав пред храмом щедрую милостыню и украсив алтарь золотом и багряницею, гордо озираясь, приступил к святому причащению и отворотился от бедного грека, приносящего скудную свою десятину, архимандрит, в полном облачении, с святыми дарами в руках, произнес слова апостольские: "Ничто же бо покровенно есть, еже не открытается, и тайно, еже не уразумеется" (21). Потом, благословив убогого грека и причастив святых даров, обратился к богатому и сказал: "Очисти душу свою смирением и покаянием: кровь, невинно пролитая, вопиет к небу об отмщении. Богатство твое – гнилость, дары и милостыня – добыча ада, и не обратятся к небу, как жертва Каинова: "Убойтесь имущаго власть по убиении вовреши в дебрь огненную" (22). Господь смотрит на сердце, а

не на руки, и судит по желанию, а не по исполнению. "Аще убо вы зли суще умеете даяния блага даяти чадам вашим" (23). Гордый даятель со стыдом вышел из храма, ибо он искал славы земная, а не спасения души и покоя внутреннего.

– К чему клонится речь твоя и на кого ты метишь своею притчей? – сказал царь грозно.

– Судья твой – Бог, а не я, государь! – сказал монах, низко поклонясь. "Сердце царево в руце Божией". Он один ведает тайные твои дела и помышления, он один награждает и наказует царей. Я к тому рассказал быль, чтоб показать тебе, что кажущееся великим на земле, иногда бывает малым пред Богом. Мир видит дела твои, чтит тебя и превозносит. Благо тебе, если всякое дело проистекает из чистого источника. Не о тебе думал я, государь, рассказывая быль, но обо всех сынах земли, от мала до велика, от царя до нищего.

– Довольно, Бог с тобой! – сказал Борис. – Ты молод, но язык твой льстив и ум коварен. – Он вынул из столового ящика горсть ефимков и подал монаху. – Возьми это и ступай с Богом восвояси.

– Я доволен твоею милостью, государь, и не возьму денег, – отвечал монах.

– Возьми на украшение храма твоей обители, – сказал Борис и, завернув деньги в шелковый платок, отдал монаху. – Ступай за мною! – примолвил царь, отпер противоположные двери, вывел монаха в другую комнату и позвал служителя, которому велел проводить его на улицу.

\* \* \*

Лишь только царь Борис Федорович возвратился в свою комнату, вошла туда царица с царевичем Феодором и дочерью Ксениею. Не могло утаиться от ближних беспокойство, смущение царя Бориса. Лицо его было бледно, глаза мутны, дыхание тяжело.

– Ты нездоров, государь, – сказала царица, – не лучше ли посоветоваться с лекарем?

– На мою болезнь нет лекарства, – отвечал Борис, – но это пройдет. Что день, то гнев, неудовольствие, досада! Ты знаешь, что мне невозможно обойтись без этого. Самые близкие ко мне люди не исполняют моих приказаний. – Царевна потупила взоры при сих словах родителя и покраснела. Борис продолжал, обращаясь к царице: – Твоя Марья Даниловна делает беспрестанно глупости: созывает в мои палаты разных бродяг; то не хочет лечиться, то лечится по-своему; внушает дочери моей ненависть к иностранцам. Я думаю выбрать из боярынь или княгинь какую-нибудь умную женщину... Мне наскучила эта старуха. – Борис опустил голову и замолчал.

– Помилуй, государь! – сказала царица, – ты убьешь бедную Марью, если удалишь ее от нашей дочери, которую она взлелеяла и вскормила на своих руках. Марья – вторая мать Ксении, они так любят друг друга! Неужели ты захочешь расстроить счастье твоего семейства? Марья принадлежит к семье нашей. – Царевна не могла удержать слез при мысли, что ей должно расстаться с доброю нянею, и горько заплакала.

– Успокойтесь, успокойтесь! – сказал Борис, тронувшись. – Пусть будет по-вашему, я только думаю так... но не хочу нарушать вашего счастья, если вы почитаете это счастьем. Боже всевидящий! чем я жертвовал, на что отваживался, что претерпел для вашего счастья, дети мои! Мне ли нарушать его? Обнимите меня! – Юный Феодор и Ксения бросились в объятия родителя. Глаза Бориса омочились слезами. Он замолчал и погрузился в думу.

– Мы пришли звать тебя на вечернюю молитву, – сказала царица. – Священник ждет в образной.

– Молитесь, молитесь, дети мои! – воскликнул Борис. – Ваш родитель имеет нужду в заступлении чистых душ. – Борис опомнился и продолжал: – Как царь я должен карать и миловать. Быть может, в числе обвиняемых и осуждаемых есть невинные, за которых я должен буду отвечать.

– Отвечать будут те, которые смущают тебя злыми извещениями, которые скрывают правду пред твоим царским престолом, а не ты, творящий суд и правду по видимому и слышимому, – сказала царица.

– Молитесь, молитесь, дети, за царя и родителя! – воскликнул снова Борис. – Вы еще чисты и непорочны, как агнцы: Господь внимает праведным.

– Мы всегда молимся за родителей, – сказала Ксения.

– И не имеем другого желанья, кроме твоего счастья, – примолвил Феодор.

– Милый друг мой Борис Федорович, пойдешь ли с нами в образную? – спросила царица.

– Нет, добрая моя Мария! ступай с Ксенией и, помолившись, отпусти священника, а после идите почивать с миром. Я останусь с Феодором. – Борис, сказав сие, простился с женою и благословил дочь. Когда они вышли из комнаты, Борис велел сыну сесть возле стола. Несколько времени продолжалось молчание. Наконец Борис сказал:

– Сын мой! я старею, недуги одолевают мое тело, внутренняя скорбь истощает душу. И цари – смертны! Я приготовил тебе наследие, которое мне и не мечталось, когда я был в твоих летах. Были времена грозные при Иоанне – я пережил их. Много было козней противу меня при Феодоре – я их избегнул и из раба сделался повелителем обширнейшего царства в мире. Господь дал мне тело крепкое, душу твердую и ум, способный понимать пользу и вред от дел человеческих; но я не получил такого воспитания, какое даю тебе. Под руководством иностранных наставников ты изучаешься всему, что нужно, чтоб быть мудрым правителем. Мудрость целого мира пред тобою: изучай умом, но избирай сердцем советы мудрецов. Люби народ свой; без этого ты можешь быть знаменитым, славным, но никогда не будешь счастливым, – Борис остановился.

– Родитель мой! – воскликнул юный царевич. – Зачем смущаешь себя черными мыслями? Тебе еще далеко до глубокой старости, и Господь сохранит тебя для нашего счастья, для счастья России. У кого мне лучше учиться царствовать, как не у тебя, государя, избранного сердцами народными, прославленного подданными и чтимого иноземными владыками?

– Ты находишься в других обстоятельствах, сын мой, – возразил Борис, – и потому тебе предлежит иной путь, нежели мне. Я избранный царь, а ты будешь царь наследственный: важное преимущество предо мною! Гордые бояре и князья рода Рюрикова, родственники и ближние угасшего царского племени, не могут никогда забыть, что я был им равный и даже низший по местничеству. Они неохотно мне повинуются и беспрерывно сплетают новые козни ко вреду моему. Если Господь допустит мне еще пожить несколько лет, я очищу вертоград царский от плевел крамолы, исторгну с корнем ядовитые зелия, виющиеся вокруг родословного моего дерева. Многие враждебные роды должны погибнуть для общей безопасности и спокойствия, и ты будешь царствовать над новым поколением, которое от колыбели привыкнет чтить тебя будущим своим владыкою, взирать на тебя, как на существо высшее, рожденное для власти. Повторяю: на твоей стороне важное преимущество, сын мой, ты найдешь все готовое, пойдешь путем очищенным...

– Ах, родитель мой! – воскликнул юный Феодор с слезами на глазах. – Стоит ли будущее мое величие тех жертв, которые ты приносишь для утверждения меня на престоле? Если между ними есть невинные?.. Несчастье безвинного может обратиться на мою голову.

– Безвинные!.. Дитя! – воскликнул Борис. – Кто тебе внушил эти мысли, эти рабские чувства? Для того ли отваживал я мое счастье, спокойствие и... словом, отваживал все, чтоб передать власть в руки малодушного? Безвинные жертвы! Разве это не вина – завидовать мне, быть неблагодарным? Честолюбивые бояре питают ко мне злобу и ненависть за то только, что я царь и что не каждый из них царем на моем месте; они почитают меня виновным за то именно, что я возвеличен судьбою не по рождению, но по заслуге. Неужели я

должен почитать их правыми за то самое, за что они почитают меня виновным? Стыдись своей слабости, первородный сын родоначальника нового царского поколения! Кровь, пролившаяся на войне, на защиту веры, престола и отечества, как целебный бальзам, оживляет и укрепляет силы государства. Я в войне среди мира для доставления тебе спокойного царствования; понимаешь ли, сын мой?

– Но где же твои враги, государь, где противоборники? – сказал Феодор. – Все беспресловенно повинуются твоей власти, от первого боярина до холопа; все по одному твоему мановению готовы положить за тебя свои головы. Родитель мой! я молод и неопытен, не смею ни давать тебе советов, ни излагать моего мнения. Но я читал в "Римской истории", что многие римские императоры напрасно терзались подозрениями и казнили людей праведных по наущению злых, которые извещениями и ложными доносами хотели выслужиться, показать свое усердие для приобретения царских милостей и вместе для удовлетворения своему мщению. Таков был Сеян при Тиверии...

– Хорошо, что ты помнишь прочитанное; но зачем же ты забыл о заговорах подлинных, невымышленных, которые были составлены на жизнь многих римских императоров? – сказал Борис, горько улыбувшись. – Сын мой! взятое силою должно быть и охраняемо силою. Сладко благотворить и миловать, но я принужден прибегать к казням и опале для доставления тебе и потомству твоему наслаждения делать добро. Мучусь, терзаюсь для счастья, величия моего рода! Сын мой, утешь меня! – Борис встал, и юный Феодор бросился в его объятия. Слезы их смешались.

– Благотвори, милуй, родитель мой! – воскликнул сквозь слезы растроганный Феодор. – Не хочу другого дара от тебя, кроме любви народной!

– Это твой удел, сын мой, – сказал Борис, сев на прежнее место, – тебе предоставляю милость, себе строгое правосудие и труд истреблять крамолу. Но если сердце твое будет говорить в пользу обвиненного – проси, я не откажу тебе в помиловании.

– Благодарю тебя, родитель мой! Ты делаешь меня богаче всех владык земных! – Феодор бросился к ногам государя и облобызал его руки. Борис поднял сына, прижал к сердцу и благословил.

– Ступай почивать и позови ко мне моего немого, чтоб раздел меня и положил в постель, – сказал Борис, – я две ночи мучусь бессонницею и сегодня так утружден, что надеюсь заснуть. – Феодор вышел, и Борис стал молиться перед образом.

## ГЛАВА IV

*Свидание двух заговорщиков. Подозрения. Прием польских послов в Грановитой палате.*

Монах из дворца пошел прямо к церкви Василия Блаженного на Лобном месте. Здесь, на паперти, дожидался его товарищ.

– Ну, слава Богу, наконец ты отделался благополучно! – воскликнул Леонид. – Я начинал уже беспокоиться о тебе. Ты слишком смело начинаешь, Иваницкий! Монашеская одежда не всегда может спасти тебя от предательства клеветов Бориса и его подозрительности.

– Первый шаг сделан, теперь робость скорее может погубить, а не спасти, – отвечал Иваницкий.

– Кто тебе говорит о робости? – возразил Леонид. – Благоразумие и робость не похожи друг на друга. Но излишняя смелость может испортить все дело, погубить тебя и всех нас...

– Что, всех вас? – воскликнул Иваницкий, прервав речь приятеля. – Везде вы о себе думаете! Что с вами станется? Неужели ты думаешь, что огонь и железо могут заставить меня изменить товарищам, открыть тайну? Не знаешь ты меня, Леонид! Я смолоду закалил себя на все труды и муки. Есть ли при тебе нож? Испытай: режь меня – увидишь, что испущу дух, но не подам голоса.

– Бог с тобой! – сказал Леонид. – Береги свое терпение на другой случай.

– Знаешь ли ты, с кем был я наедине, в Кремлевских палатах? – сказал Иваницкий.

– Разве ты ходил не к няне царевниной? – спросил Леонид.

– Ходил за зайцем, а видел волка, – примолвил Иваницкий. – Я беседовал наедине с царем Борисом!

– Шутишь! – воскликнул Леонид.

– Клянусь Богом, что говорю правду. Царь Борис застал меня у няни, где была и царевна. Сперва разгневался, но, узнав, что я толкую сны, призвал к себе и открыл передо мною душу свою!

– Видно, он догадался, что ты пришел за его душою. Что ж он говорил тебе? – спросил Леонид.

– Я целовал крест, чтоб молчать, – отвечал Иваницкий. – Скажу только, что в каменном сердце Бориса есть также трещины, слабые стороны, чрез которые можно сокрушить его силу душевную. Любезный друг! Царь Борис кажется твердым, непреклонным, выше судьбы; но надобно видеть сильных в минуты их слабости, чтоб знать их совершенно. Борис с летами упал духом: суеверие им овладело. Лютейший враг его и наш лучший помощник – собственная его совесть. Он мучится на престоле, как грешник в аде, и не устоит противу грозного испытания, когда законный наследник царства восстанет из гроба требовать от него отчета. Теперь я совершенно уверен в успехе. Сновидения Бориса и его дочери, виденные ими на одной неделе, – ужасные сновидения – открывают мне будущее.

– Давно ли ты принялся за ремесло вещуна и снотолкователя? – спросил с улыбкою Леонид.

– Не смейся, друг мой! Ты знаешь, что я далек от предрассудков и суеверия и не вовсе верю тому даже, чему надлежало бы верить, но... не постигаю сам причины, отчего сон Бориса привел меня самого в ужас. Удивительнее всего, что и царевна видела во сне ужасные мечты, весьма близкие к нашим замыслам. Должно быть в мире что-то сверхъестественное, чего мы не можем постигать нашим умом. – Иваницкий задумался и после краткого молчания воскликнул: – Ах, как мила царевна Ксения!

– Ты, как языческий жрец, восхваляешь жертву пред закланием, – сказал Леонид.

– Нет, друг мой, – сказал Иваницкий пламенно, – Ксения не погибнет! Она должна жить и быть счастливою. Я – защитник ее!

– Ты сам не знаешь, что говоришь, – отвечал Леонид. – Престол должен быть очищен для законного государя, а этого нельзя сделать, не истребив целого семейства Годуновых.

– Пусть погибнут все – кроме Ксении! – воскликнул Иваницкий.

– Счастливую участь ты хочешь приготовить ей, истребив весь род ее и племя! – сказал, улыбаясь, Леонид. – Воля твоя, а ты иногда бредишь, как во сне, – примолвил он. – Как можно думать, чтоб царевич Димитрий согласился оставить в величии или, по крайней мере, в живых дочь лютейшего врага своего, которая может своею рукою возбудить притязателя, мстителя? Кто осмелится предстательствовать за нее?

– Я! – отвечал Иваницкий гордо. – Она будет моею женой, и горе тому, кто помыслит препятствовать моему счастью! Видел ли ты ее?

– Нет. Но хотя бы она была краше всех красот земных – это не мое дело, – сказал хладнокровно Леонид. – Полагаю, что и тебе надлежало бы так думать. Не для волка растут красные яблоки!

– Любезный друг! – сказал Иваницкий. – Я два раза видел Ксению, Два раза говорил с нею и полюбил ее, полюбил, как никогда не думал, чтоб мог любить! Она должна быть моею! Я вдохну любовь в эти розовые уста, в эту нежную грудь: я научу ее жить новою жизнью! Она должна быть моею: отныне это вторая цель моей жизни!

– Иваницкий! в своем ли ты уме? Умерь пылкие твои страсти, подчини буйство юности рассудку. Слыханное ли дело, чтоб тебе, безродному, мечтать о царской дочери? И если даже мы успеем лишить ее звания царевны, то можно ли, для удовлетворения безрассудного желания, пренебрегать выгодами царя законного и царства? Так ли должен думать первый посланник царя Димитрия?

– Все в моей власти! – сказал, задумавшись, Иваницкий.

– Другой на моем месте мог бы подумать, что ты замышляешь измену, хочешь ценою предательства купить право на руку дочери Бориса! – сказал Леонид – Я этого не думаю, но во всяком случае опасаясь, что твоя сумасбродная любовь может наделать хлопот царевичу Димитрию.

– Пожалуйста, не опасайся за Димитрия! – возразил Иваницкий. – Я не могу изменить ему, как душе своей, и мое желание – его воля. Верь, если ты друг мне.

– Я друг твой, но сын России и верноподданный царя Димитрия Иоанновича, хотя и не имел счастья поныне видеть его.

– Увидишь, узнаешь и полюбишь! – отвечал Иваницкий быстро. – Леонид! дружба ко мне будет так же щедро награждена Димитрием, как преданность к нему самому. Это верно, как Бог на небе!

– Верю и знаю, что ты пользуешься всею доверенностью царевича, – сказал Леонид, – но ты должен, друг мой, для собственного счастья и блага царевича следовать советам дружбы, умерять страсти пылкие, особенно в нынешних обстоятельствах, забыть все земное, кроме одного: нашего великого предприятия.

– Довольно, довольно! – воскликнул Иваницкий. – Прошу тебя, сокрой во глубине души все, что ты от меня слышал. Я сам постараюсь забыть... Но пора домой, завтра представление посла.

Два приятеля сошли с паперти и направили путь к Кремлевской стене. Там, в уединенном месте, под камнем, сохранялись епанча и шапка Иваницкого, спрятанные им накануне. Он снял с себя рясу и клобук, положил под камень, накинул епанчу на легкое полукафтанье, простился с Леонидом и скорыми шагами пошел на Литовское подворье. Противу обыкновения калитка была отворена. Бучинский встретил Иваницкого с беспокойным лицом.

– Канцлер два раза тебя спрашивал, – сказал Бучинский, – и, как кажется, весьма недоволен тобою. Маршал Боржеминский наблюдал за тобою и, заметив, что ты отлучаешься из дому по ночам без ведома канцлера, донес ему. Я не мог лгать в твоё оправдание противу свидетельства маршала и сказал канцлеру, что ты точно отлучался несколько раз, но, как мне кажется, по любовной связи. Не знаю, хорошо ли я сделал, сказав это?

– Все равно, что б ты ни сказал, – отвечал хладнокровно Иваницкий, – потому что ты ничего не знаешь. Я сам буду говорить с канцлером.

– Предупреждаю тебя, что ты должен быть весьма осторожен в ответах. Я слышал, как канцлер говорил: "Если он отлучается для разведывания в пользу посольства, то зачем ему скрываться? Нет ли тут каких козней? Единоверчество легко может увлечь его к измене. Надобно принять свои меры". Он так говорил на твой счет, и я, как видишь, откровеннее тебя и имею к тебе более доверенности, пересказывая тебе слова канцлера, нежели ты ко мне.

– Спасибо, друг! Будь уверен, что ты не ошибаешься во мне. Все узнаешь, когда придет время. Что же касается до канцлера, то ни гнев, ни подозрения его мне не страшны!

– Он имеет над тобою власть и может требовать у тебя отчета в твоём поведении, – сказал Бучинский.

– Власть надо мною! – воскликнул Иваницкий. – Нет, я признаю над собою власть одного Бога и ему одному дам отчет в моих поступках!

– Эта вольность переходит за пределы прав и свободы нашего народа. "Служба тратит волю", твердит пословица. Ты в службе королевской, в службе Речи Посполитой, и, находясь при посольстве, зависишь от посла. Кажется, это ясно. Ведь ты не школьник, чтоб упрямитесь! – сказал Бучинский.

– Из всего этого не следует, что посол должен наблюдать все мои поступки. Я делаю, что мне велят; делаю более, нежели сколько обязан, и служу Речи Посполитой гораздо более, нежели сам посол, – возразил Иваницкий. – Успокойся, друг мой! – примолвил он. – Увидишь, что канцлер усмирит свой гнев, когда переговорит со мною, и останется довольнее прежнего. Добрая ночь!

На другой день, лишь только Иваницкий открыл глаза, слуга посольский позвал его к канцлеру. Сапега был один в своей комнате. Он бросил на Иваницкого пронизательный взгляд и сказал:

– Вы отлучаетесь по ночам из дому без моего ведома, господин Иваницкий! В нынешних обстоятельствах это должно возбудить подозрение к единоверцу неприязненного нам народа.

– Разве вы не знаете, вельможный канцлер, с какою целью я посещаю москвитян и пользуюсь знакомствами, заведенными мною здесь по поручению чернецов наших? Я вам в точности сообщал все слышанное мною о делах посольства, и не всегда ли вы удостоверились в справедливости моих донесений?

– Я благодарен вам за это, и король не останется у вас в долгу за верную ему службу. Но зачем не объявлять мне об отлучках?

– Я не хотел напрасно утруждать вас. Впрочем, к чему бы это послужило? Если б я хотел изменить вам, мне бы лучше сделать это, отлучаясь с вашего позволения. Когда б я был вам неверен, тогда бы старался отвратить всякое подозрение и прикрыться вашим именем. Но я не говорил вам ничего потому, что совесть моя чиста и что я не хотел отдавать ежедневно отчета в моих неудачах. Вот уже четверо суток, как я волочусь с одного пиршества на другое, из одной беседы в другую, чтоб узнать о намерении царя в рассуждении наших дел, и только случайно успел вчера выведать от одного чернеца, любимца патриархова.

– Что ж такое? – спросил Сапега нетерпеливо.

– Что с Швецией составлены мирные условия. Карл Зюдерманландский обещает уступить Борису Ливонию от Нарвы до Нейгаузена, оставляя за Швециею Нарву. В Ингерман-

ландии уступает часть до устья Невы и требует, чтоб царь Борис помог Швеции войском и деньгами в войне с Сигизмундом и отказался от заключения мира с Польшею. Карл обещает притом уплатить долг и военные издержки после войны и отдает в залог город Юрьев-Ливонский.

– Неужели это правда? – спросил Сапега с беспокойством.

– Я говорю, что слышал. Вы увидите, что нас станут ласкать, а между тем откладывать окончание дела, пока не объявят войны. Впрочем, я буду извещать вас о ходе дел. Меня обещали познакомить с знаменитым думным дьяком Афанасьем Власьевым, заведывающим ныне Посольским приказом. Только прошу вас не стеснять меня в свободе отлучаться по произволу.

– Я прикажу, чтоб вас выпускали и впускали, когда вам заблагорассудится. Господин Иваницкий! вы молоды и своим усердием можете открыть себе путь к важным местам и милости королевской. Я буду ваш заступник и покровитель. Поныне я доволен вами; надеюсь, что и впредь вы не подадите повода к неудовольствию.

– Дела докажут лучше, нежели слова, мое усердие к службе и преданность к особе вельможного канцлера, – сказал Иваницкий, поклонясь низко.

– Теперь ступайте одеваться к аудиенции. Прошу вас прислушиваться, что будет говорить народ, а во дворце примечать, как будут внимать моей речи бояре. Я буду занят представлением, и потому мне невозможно наблюдать самому. Вы понимаете меня? Надобно постигнуть, какое впечатление произведет при дворе и в народе наше представление.

– Сделаю все, что вам угодно, по мере сил моих и способностей, – сказал Иваницкий. – А между тем прошу вас, вельможный канцлер, несколькими словами разогнать то подозрение, которое возбудило в вас и в членах посольства донесение маршала Боржеминского насчет моих отлучек. Даже друг мой Бучинский, пред которым я должен скрывать ваши поручения, оказывает мне недоверчивость и сомневается в чистоте моих намерений. Это больно!

– Будьте спокойны, я все улажу! – сказал канцлер и дал знак головою Иваницкому, чтоб он вышел.

Пока главный пристав царский, князь Григорий Елецкий, и два младшие пристава, Казаринов и Огарев, одевались в посольских комнатах в богатые одежды, присланные из царских кладовых (24), на посольском дворе собрались все паны и слуги, чтоб изготавиться к торжественному шествию. Паны с недоверчивостью поглядывали на Иваницкого, который, сложив руки на спине и потупив голову, медленно расхаживал в отдалении от прочих. Наконец вышел из комнат канцлер Сапега, велел выстроиться всем, как следовало к шествию, осмотрел ряды и, выступив на средину, подозвал к себе Иваницкого, взял его за руку и, обратясь к свите, сказал:

– Некоторые обстоятельства заставили многих сомневаться в искренности господина Иваницкого. Прошу вас, господа, положиться на мое слово и уверение и почитать его верным сыном Речи Посполитой Польской и усердным слугою королевским. Всякое сомнение и подозрение насчет его поведения есть обида ему и мне, ибо он во всем поступает не иначе, как по моему поручению. Кто обидит его, тот оскорбит меня.

Сказав сие, канцлер удалился в свои комнаты, а Иваницкий возвратился на свое место.

– Ну, видишь ли, что сказанное мною вчера сбылось! – шепнул Иваницкий Бучинскому.

– Ты демон, а не человек! – отвечал Бучинский. – Теперь верю, что я обманулся, когда думал, что знаю душу твою, судя по твоему прежнему со мною обращению. Поистине, ты – демон!

Иваницкий улыбно и насмешливо посмотрел на своего приятеля, примолвив:

– Да, брат! Ангел не много выигрывает с людьми! Между тем на улице послышались звуки труб и бубнов и повелительные голоса начальников стрелецких дружин. Маршал Бор-

жеминский приказал отворить ворота, и два боярина, окруженные толпою боярских детей, въехали на конях на посольский двор. Послы польские встретили бояр на крыльце, ввели в приемную залу, и тогда один боявдн, сняв шапку, произнес следующую речь:

– Великий государь царь и великий князь Борис Федорович, всея Великия и Малыя и Белья России самодержец и многих государств и земель восточных и западных и северных отчич и дедич, и наследник, и государь, и обладатель, повелел спросить о здоровье вас, великих послов, своего брата и приятеля Сигизмунда, короля Польского и великого князя Литовского и иных земель государя.

Послы, выслушав слова боярина с открытыми головами, поблагодарили государя и отвечали, что они здоровы. Русский боярин снова сказал:

– Великий государь царь и великий князь Борис Федорович, всея Великия и Малыя и Белья России самодержец и многих государств и земель восточных и западных и северных отчич и дедич, и наследник, и государь, и обладатель, повелел явиться к нему вам, великим послам брата своего и приятеля Сигизмунда, короля Польского, великого князя Литовского и иных земель государя.

Слово *повелел* встревожило буйного князя Друцкого-Соколицкого и других молодых панов, но канцлер Сапега значительным взглядом успокоил гордое юношество, а Станислав Варшицкий сказал им по-латыни: – Это принятый образ изъяснения при царском дворе, которому должно повиноваться.

Канцлер Сапега отвечал боярину:

– Благодарим государя за милость и готовы исполнить его волю.

Когда сей обряд кончился, бояре и послы надели шапки, и дружески обнялись. Вскоре явились приставы в бархатных кафтанах, шитых золотом и унизанных жемчугом, в высоких собольих шапках. Все вышли из комнат, сели на коней, и торжественное шествие двинулось.

Впереди ехал думный дьяк Афанасий Власьев, за ним польский дворянин Адам Лукашевич. Вслед шли пешком шестьдесят человек посольских слуг, по три в ряд. В первых четырех рядах слуги несли подарки на бархатных подушках, покрытых золотою парчой. В задних рядах вели двух коней под бархатными попонами. За слугами ехали верхом Иваницкий и Бучинский с верующею грамотою короля Польского, прежними мирными договорами России и Польши и начертанием нового договора. Грамоты сии находились в двух серебряных ящиках. Канцлер Сапега ехал между Варшицким и Пельгржимовским, а вокруг них бояре и пристава. За ними следовали верхом все паны польского посольства; шествие замыкали боярские дети, также на конях.

Поляки не уступали русским в богатстве одежды и конской сбруи. Русский народ с уважением смотрел на Льва Сапегу, мужа высокого, сухощавого, с седою короткою бородой. Голова его покрыта была малою бархатною шапочкой черного цвета с белым цаплиным пером, прикрепленным алмазною пряжкой. Он был в длинном кафтане из голубого атласа, а поверху имел соболью шубу, крытую алым бархатом, с короткими рукавами, которая развевалась, как плащ (25). Другие два посла одеты были, подобно ему, в кафтанах и шубах, а молодые люди в атласном испанском платье с бархатными плащами, в токах с страусовыми перьями или в венгерских полукафтанных, шитых золотом и серебром, в бархатных шапках. Турецкие сбруи, украшенные золотом, серебром и цветными камнями, привлекали взоры любопытных. Поляки сожалели, что обычай не позволял являться пред русского государя с оружием, ибо чрез это они не могли выказать лучшего своего убранства и любимой роскоши. Русские, напротив того, были вооружены ножами в золоченых ножнах и саблями. Кафтаны их вышиты были золотом, шапки опушены дорогими мехами. Высокие кованые серебром седла, золотые и шелковые узды отличались видом от польских. По обеим сторонам улицы, от самого Литовского подворья, стояли стрельцы в два ряда, с ружьями. Они были в коротких и узких кафтанах с отлогим высоким воротником, в высоких шапках бараньих, серых и

черных. Каждая сотня отличалась особым цветом кушаков, каждая тысяча кафтанами. Стрелецкие головы, сотники и тысяцкие были в ферязях из тонкого сукна, с золотыми нашивками, в высоких собольих и бобровых шапках. Народ толпился на улицах, взлезал на крыши и на заборы, чтоб посмотреть на великолепное зрелище. Глухой шум раздавался в толпах, как бушевание ветра в густой дубраве. По временам слышны были в толпах болезненные крики от ударов приставов и недельных, разгонявших народ и очищавших путь посольству.

На Царской улице встретил послов постельник князь Федор Иванович Хворостинин-Ярославский с шестью царедворцами. Шествие остановилось. Бояре и послы сошли с коней, сняли шапки, и постельник спросил от имени государя о здоровье послов. Потом все сели на коней и продолжали путь до Кремля. На Красной площади и у Лобного места была такая теснота, что посольство с трудом добралось до Фроловских ворот. Здесь надлежало сойти с коней и снова снять шапки пред чудотворным образом Спаса. Прождав здесь около получаса, пока пристав и недельные успели очистить путь между толпами народа, послы и бояре снова сели на коней и въехали в Кремль. У Вознесенского собора послам объявили, что никто не смеет подъезжать на лошадях к царскому крыльцу, кроме самого государя и детей его (26). Послы отдали лошадей и пошли пешком. Польское юношество кипело гневом от сего уничижения народного достоинства, и только одно уважение к канцлеру Сапеге удерживало гордых польских витязей в пределах скромности и повиновения.

Слуги, исключая тех, которые несли подушки, остались у крыльца, а послы вошли в сени между рядами вооруженных людей.

Воины немецкой дружины, одетые богато, в желтых немецких полукафтанных с серебряными галунами, в шлемах с белыми перьями, в блестящих нагрудниках, с ружьями и длинными мечами, стояли на одной стороне, а на другой боярские дети в красных ферязях с золотыми галунами, в высоких рысьих шапках, вооруженные длинными бердышами. На скамьях впереди воинов сидели бояре и прислужники царские в парчовых одеждах, в шапках. Здесь встретил послов печатник и ближний дьяк Василий Щелкалов и поздоровался с канцлером Литовским, как равный с равным; двери отперлись настежь, и Щелкалов ввел послов в царские палаты.

В конце огромной залы с расписанными стенами, под образом Богоматери находилось возвышение в несколько ступеней, обитое красным бархатом. На нем стоял золотой престол, на котором сидел царь Борис Федорович в Мономаховом венце, имея в правой руке золотой скипетр, украшенный драгоценными камнями. Государь (27) был в широком одеянии из золотой парчи, унизанном жемчугами, сияющем алмазами и цветными дорогими камнями, и в красных бархатных сапогах.

По правую сторону царя сидел в золотых креслах царевич Феодор в парчовой же одежде, с открытою головой. По левую сторону от престола, на высоком серебряном решетчатом столике, лежала золотая держава с крестом; на малом столике стояла золотая умывальница, накрытая белым полотенцем (28). Пол устлан был дорогими персидскими коврами. Вокруг стен на скамьях, поставленных в четыре уступа, застланных богатыми коврами, сидели бояре, окольные и думные дворяне в парчовых одеждах, с обнаженными головами. На ступенях возвышения, на котором находился престол, стояли четыре рынды в белых атласных ферязях, в рысьих шапках, с серебряными бердышами на плечах. Свита посольская остановилась посреди залы с приставом, а послы Лев Сапега, Станислав Варшицкий и Илья Пельгржимовский подошли с Щелкаловым и думным дьяком Власьевым на десять шагов к престолу. Печатник Щелкалов, поклонясь в пояс государю, сказал:

– Божиею милостью царь Борис Федорович, великий государь и самодержец всея Руси, Володимерский, Московский, Новгородский, Псковский, Тверской, Болгарский, великий князь Новгорода Низовския земли, Смоленский, Рязанский, Волошский, Ржевский, Вельский, Ростовский, Ярославский, Белоозерский, Полоцкий, Удорский, Обдорский,

Северский, Кондийский, отчинный государь Лифляндския земли, царь Казанский, Сибирский и Астраханский и царей Грузинских, Кабардинския земли и Черкасских и Горских князей, и иных многих земель и государств государь, обладатель и вся Северная страны повелитель (29). Прибывшие сюда послы от великого государя, короля Польского, великого князя Литовского и иных, Сигизмунда Ивановича, бьют челом твоему царскому величеству и просят позволения изложить поручение своего государя!

Послы поклонились царю, как бы подтверждая слова оратора.

Царь дал знак Щелкалову наклоением головы, и он шепнул Сапеге, чтоб начать речь. Сапега сказал по-русски:

– Наияснейший и великий государь наш, Сигизмунд III, Божию властью король Польский, великий князь Литовский, Русский, Прусский, Замойский, Мазовецкий, Киевский, Волынский, Подольский, Подлесский, Лифляндский и наследственный король Шведский, Готфский, Вандальский, князь Финляндский и иных, тебе, Божию властью великому государю и великому князю Борису Феодоровичу всея Руси, Володимерскому, Московскому, Новгородскому, Казанскому, Астраханскому, Псковскому, Тверскому, Югорскому, Пермскому, Болгарскому и иных многих земель и княжеств государю и повелителю, велел поклониться и наведаться нам о твоём здоровье.

Наш великий государь Сигизмунд III, Божию милостью король Польский, Шведский, великий князь Литовский, Финляндский, Лифляндский и иных тебе, великому государю, великому князю Борису Феодоровичу всея Руси велел сказать. Прислал ты к нам посланника своего, думного дворянина и ясельничего, наместника Можайского Михаилу Игнатьевича Татищева и дьяка Ивана Максимовича с уведомлением, что волею Божию великий государь и великий князь Феодор Иванович, потомок великих государей и великих князей Московских, отошел от мира сего, что тебя, великого государя и великого князя всея Руси, учинил Бог государем и великим князем Московским и что ты желаешь добра всему христианству. Зная также, что всемогущий Бог, царь царей, государь государей, держащий в своей святой деснице все государства, устанавливающий царей и князей, переносит достоинство и власть из рода в род по своему произволу, и тебя, государь Борис Феодорович, соблаговолил святою волею своею посадить на престоле Московском, и при сем, ведая твои благие желания и помышления, объявленные нам посланниками твоими Михаилом Татищевым и дьяком Иваном Максимовичем, мы тебя с сим великим государством поздравляем и желаем тебе в милости Божией и дружбе с нами счастливой жизни на многие лета!

Царь привстал и спросил:

– Здоров ли любезный брат мой Сигизмунд Иванович, Божию милостию король Польский, великий князь Литовский и иных?

Сапега отвечал с поклоном, что король здоров, Божию милостию. Засим Станислав Варшицкий и Илья Пельгржимовский повторили один за другим приветствие одинакового содержания с речью Сапеги. Тогда, по знаку государя, принесли небольшую скамью, покрытую ковром, для трех послов и поставили на правой стороне, перед скамьями русских бояр. Печатник Щелкалов и думный дьяк Власьев стали на ступенях трона, первый по правую, второй по левую сторону.

Когда послы сели, царь, обратившись к ним, спросил:

– Лев, Станислав, Илья! как поживаете, здоровы ли вы?

– Здоровы, милостию Божиею, и благодарим тебя, великого государя, за доброе к нам расположение, – отвечал Сапега. Царевич Феодор повторил вопрос отца своего и получил тот же ответ от второго посла, Варшицкого.

Между тем Борис Федорович обратил внимательный взор на свиту посольскую – и вдруг брови его нахмурились и на лице показалось некоторое смущение. Он велел Щелкалову поскорее принять верительные грамоты и подарки. Думные бояре, не спускавшие глаз

с государя, шептали между собою, что царь, верно, почувствовал припадок своего недуга, боль в ногах.

Печатник Щелкалов принимал подарки и клал их на сторону, провозглашая имя каждого посла и дворянина посольства, приносящего дар. Подарки канцлера Льва Сапеги были истинно царские: он поднес царю ожерелье, осыпанное алмазами и дорогими цветными камнями, с золотой цепью, и три огромные, серебряные, ярко вызолоченные кубка; царевичу – кораблик золотой, весьма искусной отделки, и два большие серебряные вызолоченные кубка. Кроме того, у крыльца стояли два коня отличной породы: один для царя, со всем прибором, с седлом и узденицею, окованными золотом, с чепраком, вышитым жемчугом, другой, для царевича, под красною бархатною попоною. Другие послы и дворяне свиты поднесли серебряные кубки, золотые часы и драгоценное оружие. Царь благосклонно принял подарки.

Канцлер повелел подать верительные грамоты. Из толпы польских дворян выступили на средину Бучинский и маршал Боржеминский, поклонились царю и, отдав ящики, возвратились на свое место. Канцлер Сапега удивился, что вместо Иваницкого подал верительную грамоту Боржеминский. Сапега искал глазами Иваницкого в толпе польских дворян и не видал его. Приличие не позволяло ему встать с своего места и спросить, куда девался Иваницкий; но это обстоятельство несколько его встревожило.

Послы надеялись, что их пригласят к царской трапезе, но Борис Федорович извинился нездоровьем и приказал угостить послов с царского стола в их доме. Печатнику Щелкалову поручено от государя заступить место хозяина. Послы, откланявшись, возвратились в свое подворье, сопровождаемые толпами народа и конною дружиною детей боярских.

На другое утро канцлер Сапега призвал в свою комнату Бучинского и сказал:

– Вы отданы мне родителем вашим на мое попечение, находитесь при мне уже несколько лет и могли узнать меня хорошо. Вы, без сомнения, уверены, что никакая личность, ни вражда, ни дружба, ни родство не уклоняли меня от единственной цели моей жизни – служить отечеству, и что одно желание быть ему полезным руководствует всеми моими поступками. Будьте откровенны со мною и отвечайте по совести на все мои вопросы.

– Благо моего отечества и пользу его предпочитаю я всему на свете, – отвечал Бучинский. – Это чувство возросло вместе со мною и вкоренено во мне родителем моим, который кровью своею запечатлел любовь свою к отечеству. В скрытности никогда меня не подозревали поныне, и кроме дел по службе, вверяемых мне вами, я не имею никаких тайн.

– Я вас не подозреваю ни в чем, – возразил Сапега, – но хочу расспросить о некоторых сомнительных обстоятельствах касательно вашего друга – Иваницкого.

– Вы сами запретили нам сомневаться насчет его честности, искренности, преданности к Польше, к королю, – сказал Бучинский.

– Это правда. Но... но его поведение иногда смущает меня самого. Его скрытность... однако ж приступим к делу. Ему поручено было нести ящик с договорами, отчего же он отдал его Боржеминскому? Отчего он вышел из приемной залы во время аудиенции, когда я именно велел ему наблюдать, смотреть, прислушиваться?

– Он сказал нам, что нездоров, что чувствует кружение в голове, – отвечал Бучинский, – и в самом деле, кровь полилась у него из носу. Возвратившись поспешно домой, он пролежал целый день в постели и даже сего дня страдает головою болью.

– Давно ли вы знаете Иваницкого? – спросил Сапега.

– Мы сперва учились вместе в первоначальной школе в Гаше, именье панов Гасских, а после в иезуитском коллегиуме в Львове. Иваницкому теперь около двадцати четырех лет от рождения; я знаю его с пятнадцатилетнего возраста, но расставался с ним несколько раз в течение этого времени.

– Знаете ли вы его родителей или кого-нибудь из родственников? – спросил Сапега.

– Нет. Иваницкий сказывал мне, что он сирота, что отец его дворянин польский, греко-российского исповедания, а мать полька. Дед его вышел из России и поселился сперва в Киеве, потом жил при дворе князей Острожских, в Остроге, а отец промышлял арендным содержанием разных частных и королевских имений в Польской Украине и скончался, не оставив ему никакого состояния. Он воспитывался сперва на счет чернецов греко-российского исповедания, а после иждивением общества иезуитов, которым один из предков его, по матери, отказал значительные имения. Из Гащи и из Львова он отлучался несколько раз в Киев, в Острог, в Туров и в другие места, где находятся монастыри чернецов, которых он называет своим семейством, своими родственниками. Окончив ученье, два года я не видал его и свиделся в Варшаве, при образовании посольства. Он сказал мне, что поручен вам ректором иезуитского коллегиума в Львове, где мы воспитывались, и принят вами в посольство в звание писаря и переводчика.

– Это правда, что он принят мною в посольство по усердному настоянию отцов иезуитов и по уверению их, что Иваницкий, будучи греческого исповедания, может быть мне полезен связями своими с чернецами. Правда также, что он оказал мне многие услуги, открыл много такого, чего бы мы не могли узнать в Москве без его пособия, но... кажется, он слишком подружился с русскими...

– Этого я не знаю вовсе, отвечал Бучинский. – Он никогда не говорил мне о своих дружеских связях в Москве, никогда не брал с собою к русским и не принимал ни одного из них в посольском доме.

– Какого он нрава? Какие в нем господствующие склонности? Вы могли заметить это, зная его с юности.

– На это я не могу отвечать вам удовлетворительно. Нрава он угрюмого, склонен к задумчивости, но души пылкой. Это огонь под ледяною корой. Впрочем, и нрав и характер его изменчивы, как море или как воздух. Иногда он хладнокровен ко всему, а иногда безделица приводит его в исступление. Положение души его зависит не от внешних обстоятельств, но кажется, будто душа его в произвольных своих порывах не знает никаких препятствий и действует вопреки внешним препонам. В училищах иногда он покорялся несправедливым требованиям младших надзирателей, даже из учеников; иногда же пренебрегал законными повелениями высшего начальства. Иногда возбуждал товарищей к веселости и наслаждениям и часто отказывал самым усиленным просьбам разделять общие забавы. Он был открытый враг каждому, кто хотел снискать первенство пред другими, и кто не признавал его превосходства, тот подвергался его мести. Правда, он всегда был первым в науках, всегда защищал слабого от сильного, отдавал последний шеляг нуждающемуся, отличался буйною смелостью, был всегда непреклонен, непримирим во вражде, неизменен в приязни, и потому товарищи уважали его и боялись, но – не любили. Меня связала с ним благодарность. Однажды в Львове во время церковной процессии в греко-российском монастыре ученики иезуитского коллегиума, подстрекаемые наущениями некоторых молодых патеров, осмелились нарушить благочиние и уважение, должное святыне. Жители предместья и ученики греко-российского монастыря вознамерились отмстить нам за сию обиду. Они напали на нас во время загородной прогулки и, не отличая правого от виноватого, окружили и стали бить палками и бросать камнями. Несколько молодых патеров и учеников были жестоко ранены. Мы защищались как могли, но должны были уступить числу и силе. Хотя я вовсе не участвовал в оскорблении святыни, но подвергся общей участи. Меня схватили двое мещан, бросили на землю и, может быть, убили бы в ярости – как вдруг появился Иваницкий, вооруженный дубиною. Прогуливаясь один под лесом, он увидел драку, сел на пасущуюся лошадь и без седла и узды прискакал к нам на помощь. Грозным голосом зывал он к своим единоверцам, побуждая их к прекращению драки. Многие послушались его, некоторые воспротивились, и он бросился один в толпу самых отчаянных и принудил их ударами устремиться

на себя одного. С удивительным мужеством, как волк среди стада, он выдерживал неравную битву и, увидев меня на земле, издыхающего под ударами, отогнал от меня убийц и, став надо мною, защищался до тех пор, пока из города не подоспели к нам на помощь вооруженные люди. Тогда Иваницкий, взяв меня на плечи, отнес в мое жилище, не отходил от моей постели ни днем ни ночью, сам лечил меня и перевязывал раны и возвратил мне жизнь и здоровье. С этих пор я прилепился к нему душою и доньше не имел причины раскаиваться в моей привязанности. Он всегда помогал мне советами, и часто даже деньгами, возбудил охоту к учению, руководствовал в науках, старался поселить в душе моей твердость, бесстрашие; одним словом, будучи моложе меня двумя годами, был моим наставником. Я с своей стороны обуздывал излишнюю его пылкость в минуты стремительных порывов его души и моим хладнокровием несколько раз отвлекал от намерений, которые казались мне пагубными. Таким образом утвердилась наша дружба; я думал, что узнал его совершенно – но чем долее живу с ним, тем более удостоверяюсь, что характер его непостижим, изменчив, что нрав его не может сносить спокойствия и что душа его требует необыкновенной деятельности.

Сапега задумался и потом сказал:

– Какие же он имел намерения, которые казались вам пагубными?

– Это были мечты юности, которых не должно брать в важном смысле и выводить из того заключений, вредных характеру моего друга. Зачем открывать пустые намерения, сны юного воображения? Быть может, что это повредит Иваницкому в вашем мнении. Я не имею права открывать того, что было говорено в дружеских беседах.

– Прошу вас быть со мною откровенным; я даю вам честное слово, слово Льва Сапеги, что я стараюсь узнать все касающееся до вашего друга не ко вреду его, но к добру.

– Иногда Иваницкому приходила мысль отправиться в Турцию и, преобразовав народ введением просвещения, сделаться там значительным человеком, – отвечал Бучинский. – Иногда он замышлял свергнуть с престола Волошского господаря и своими подвигами принудить народ выбрать себя в господари! Иногда он думал отправиться в Запорожье, образовать из сей воинственной республики удельное княжество! Одним словом, все намерения его казались мне смешными, несбыточными, исполнинскими, не по силам бедного сироты...

– Итак, честолюбие есть господствующая в нем страсть! – сказал Сапега.

– Кажется, так. Но это пройдет с летами. Воображение его слишком сильно, и если оно обратится на другой предмет, то...

– Во всяком случае, – возразил Сапега, – честолюбие и властолюбие – опасные страсти, особенно при столь предприимчивом характере, как у Иваницкого. Такой человек может быть весьма опасен в Польше, где своеволие дворянства служит пищею каждому честолюбцу и где власть королевская не имеет силы удержать в пределах страсти дерзостных искаателей счастья. Если вы любите отечество, Бучинский, вы должны наблюдать своего друга и не только удерживать его в буйных помыслах, но советоваться с людьми опытными. Повторяю, такой человек может быть вреден отечеству.

– На этот счет не опасайтесь, вельможный канцлер: Иваницкий привержен к Польше и никогда не повредит ее выгодам. Даже в мечтах своих он всегда говорит, что первое его желание – быть полезным нашему отечеству.

– Не верьте! – возразил Сапега. – Честолюбцы часто вредят отечеству противу своей воли. Кто бросается к цели не по проложенному пути, тот невольно должен для очищения нового поприща вырывать деревья с корнем и ломать вековые утесы. Теперь возвратитесь в свою комнату и не открывайте никому, особенно Иваницкому, о нашем разговоре.

## ГЛАВА V

*Народные толки. Кружало царское. Торговые ряды. Красная площадь. Кликуша. Диво.*

Над дверьми больших хором на Бальчуге привешена была зеленая елка. По обеим сторонам дверей, на улице, расставлены были столы, на которых разложено было съестное: вареные и жареные мяса, студень, кисель. В малых тележках лежал хлеб. Над горшками с пылающими угольями стояли железные сковороды с гречневиками, жирным сладеным и пирогами. Торговки громко приглашали прохожих отведать вкусной пищи. Народ толпился у дверей, и шум разносился далеко от хором, как от улья.

Молодой человек в серой сибирке, опоясанный красным кушаком, в высокой бараньей шапке, вошел в двери и тихими шагами прошел по всем избам, где за длинными узкими столами сидели на скамьях господские люди, крестьяне подмосковных деревень, мещане, стрельцы, иногородние торговцы. Хлебное вино, меды и пенное полпиво переходили из рук в руки в деревянных кружках с царскою печатью. Проворные подносчики в красных рубахах суетились вокруг столов, стараясь вскорости удовлетворять желанию каждого посетителя. Ловкие парни разносили на лотках московские калачи, сайки, паюсную икру, печеные яйца. Посетители Фидели особыми толпами и разговаривали между собою, потчеван друг друга. Молодой человек в серой сибирке сел на конце стола, спросил полкружки меду и стал прислушиваться к речам ближней толпы.

Стрелец. Ну что ж, кум! за тобой дело!

Мещанин. Да здесь, брат, не дождешься и не допросишься в трое суток одного глотка. *(Кличет подносчиков.)* Сенька, Прошка! оглохли, что ли? Ведь я прошу не ради Христа, а за родимые денежки. Дайте поскорее кружку вина, вот вам две деньги! Что приглядываешься? Не бойся, не заржавели! *(Подносчик ставит кружку на стол; мещанин наливает вина в деревянный стакан и пьет.)* Эх, брат, видно, твое винцо купалось в воде, да не просохло! а денежки-то чисты, как светлый месяц.

Подносчик. Не мое вино, не мои и деньги: все царское.

Стрелец. Да и мы не чьи, а царские. Только Бог высоко, царь далеко, а пока солнышко взойдет, так роса глаза выест. *(Подносчик удаляется в молчании.)*

Господский человек. Бывало, то ли дело, когда всякий мог торговать вином! Всем было хорошо, а нам, господским людям, раздолье, а пуще как навезут запасов из деревень. Сами пили, что душе угодно, да и добрых людей потчевали.

Мещанин. Правда, в каждом доме, бывало, продавали вино, да какое вино, огонь! а за ведро платили, что теперь за кружку. Было времечко! (30)

Торговец. А теперь ищи по городу кружала, как мышьей норы в лавке.

Мещанин. Да и жди, пока попотчевают сытою вместо патоки. Кум, что ты пьешь! *(Подает стакан стрельцу.)*

Стрелец. Старые люди говорят, что кружало – как молочный горшок. Сливки кушают бояре, молоко пьют приказные да приставы, а нам, крещеным, остается сыворотка.

Мещанин. Правда, теперь боярам не житье, а масленица. Дедушка сказывал, что при покойном царе Иване Васильевиче они были тихи и смирны, как ягнята, а теперь, как выбрали царя из своей братьи, так и вырастили рога, да и давай бодать. Пей, Петрушка! *(Подает стакан господскому человеку.)*

Господский человек *(выпив)*. Послушал бы ты, как они чванятся между собою! Мы-де выбрали царя, мы-де сами лучше, наши-то отцы и деды были старше!

Мещанин. Уж как Божие-то племя велось на царстве, так все были равны у царя-батюшки, а что убоже, то лучше. А теперь кто богаче да сильнее, тот краше и милее. Все

бояре да бояре! У меня оттянул огород проклятый Семен Никитич Годунов, да меня же хотели выставить на правеже! Отец мой работал в хоромах у боярина Семена, да, вишь, не угодил ему. Приказчик отдал деньги отцу, а боярин потребовал назад; назвав плату долгом, потянул в приказ и взял огород. Отец помер, я опять в приказ, а там как накинута все на меня, как на дикого зверя, что насилу вынес душу! Я хотел было повалиться в ноги царю, ждал до поста, пока он пойдет в церковь, дождался, да, как сквозь огонь, не добрался к нему сквозь бояр. Они как завидели у меня бумагу, так тотчас велели схватить да отвезти в тюрьму, и если б не Иоган-немец, то б насидеться мне в западне. Он пустил меня домой, дай Бог ему здоровье! Ах, окаянные! (*Пьет*).

Стрелец. Да, уж эти немецкие ратники у нас костью в горле! Статное ли дело – держать нехристей в царском дворце, окутав в золото и серебро, как диковинки. Уж бы лучше набрать сотни две русских волков да медведей да приковать их на цепь в сених, чем позволить стеречь православного царя немецким бусурманам!

Пономарь (*выпив, перекрестился*). С нами сила крестная!

Стрелец (*выпив, говорит горячо*). Уж как будто немцы-то с неба звезды хватают! Недаром говорят: на отце воду важивали, а к сыну и с хомутом не ходи. Наши отцы щелкали немцев, как орехи, да ходили за всяким добром в немецину, как в свой короб, а теперь им же честь ни за что ни про что; они же чванятся, как холоп на воеводском стуле!

Господский человек. Господа сказывают, что царь-то не верит своим (*понижив голос*). Говорят, как слышно: выбрали-де одного, выберут и другого, а немцам – будь хоть черт, лишь бы яйца нес.

Пономарь (*выпив*). Где хвост начало, там голова мочало!

Мещанин (*пьет*). Правда твоя, сват. Залежался костыль царя Ивана Васильевича! Дать бы мне власть и силу, я бы поочистил сор в Москве белокаменной, а начал бы с боярских палат. Нечего сказать, царь милостив, да милость-то его проходит чрез боярское решето.

Стрелец. Напустили немцев на святую Русь, как козлов в огород, так не быть добру!

Мещанин. Дали волю боярам да дьякам, так и выходит, что царь хочет гладить, а они скребут православных. Быть беде за грехи наши!

Стрелец. Наведут нехристи на беду, как черт на болото!

Мещанин. Быть беде не от нехристей, а от православных. Знает, сват, сила правду, да не любит рассказывать.

Стрелец. Какая правда? Василич, ну-ка скажи, что у тебя на уме?

Торговец. Язык голову кормит, да он же и до побой доводит. Что промолчано, то как спрятано в запас.

Стрелец (*подавая ему кружку*). Пустое, пей, ешь, а правду режь!

Мещанин. Я вам скажу за него. Сват Василич проезжал чрез Углич прошлого лета. Там видели среди белого дня два солнца, а схимник Афанасий пришел из лесу в город – и прямо к воеводе. Тот его расспрашивать, чему быть, чего не миновать. Афанасий долго упрямылся, не хотел отвечать и просил только, чтоб воевода приказал три дня кормить бедных из казны государевой, а владыке советовал три дня служить молебны во всех церквях. Наконец упростили старика растолковать чудо. "Быть великой беде на Руси, – сказал Афанасий – за то, что мы извели святое царское племя. Тяжко будет отвечать всем за невинную кровь, как за первородный грех. Будут в России два царя в одно время и кроволитие между христианами!" – Воевода испугался, схватил Афанасья, посадил в кибитку да и послал в Москву. Царь, слышно, сам говорил с стариком, молился с ним, честил в своих палатах и отправил назад. Афанасий сперва не хотел сказывать, что ему говорил царь, а после признался владыке, что царь сказал: "Быть двум царям – так быть, а от беды избавит Бог". После того он пожаловал киргизца Ураз-Магмета царем Касимовским – и делу конец. Старики однако ж говорят: сбылось одно, сбудется и другое.

Господский человек. Отцы ели клюкву, а у детей будет оскомина на зубах.

Торговец. Нечего грешить: два солнца видел я своими глазами (31), а прочее рассказывал мне приказчик воеводы и побожился, что правда.

Пономарь (*пьет, потом оглядывается на все стороны и, перегнувшись через стол, говорит вполголоса*). Нет, уж если говорить о чудесах, так я вам скажу чудо. Прошлого воскресенья, как запели многолетие царю у Вознесенья, вышел из церкви чернец, бросил нищим целую горсть денег и сказал: «Молитесь за здоровье царевича Димитрия Ивановича: он не умер в Угличе, а жив!» – Нищие бросились на деньги, а чернец скрылся. Один нищий пришел к игумену, показал ему три ефимка и рассказал, как бы ш дело. Игумен испугался, сказал архимандриту, нищих допросили в келье, а про чернеца нет ни слуху ни духу, как будто провалился сквозь землю!

*(Все крестятся).*

Стрелец. Вздор мелете, ребята! На Москве много праздных людей, врут, что попадет на язык, а кто слушает, так попадет в беду, как кур во щи. Вранье...

Молодой человек в серой сибирке встал, оглянулся на все стороны и, заметив, что у дверей толпа народу, остановился, бросил горсть серебра на стол и сказал:

– Чернец говорил правду. Пейте за здоровье Димитрия Ивановича! – Собеседники остолбенели от удивления и страха.

– Слово и дело! – воскликнул стрелец, вскочил с своего места, чтоб поймать молодого человека в серой сибирке, но он уже был за дверьми. Ужасное восклицание "слово и дело!" произвело всеобщую тревогу: одни бросились к дверям, другие вскочили на скамьи, спрашивая: что такое, где виноватый? Но стрелец, возвратившись к своим товарищам, сказал:

– Ушел! делать нечего, ребята, а надобно объявить.

Мещанин (*на ухо стрельцу*). Кум, наживешь себе беды, а дела не будет! Ушел, так и концы в воду! Деньги я подобрал; поделимся и скажем, что какой-то удалец бранил царя и убежал, как ты закричал «слово и дело!» Тебя поглядят по головке, нас не тронут, а денежки останутся в мошне.

Стрелец. А другие что скажут?

Пономарь. То же самое. Заварим кашу, так самим и придется расхлебывать. Не водись, брат, с тюрьмой да с приказной избой! От запросов да вопросов недалеко до пытки. Ступай в приказ, а нас не мешай. Наше дело сторона. Мы ничего не слыхали и не видали.

\* \* \*

Против Красной площади, от Никольской до Ильинской улицы, простирался ряд домов деревянных, с малым числом каменных, с навесами, под которыми были лавки с товарами русскими и иноземными. Под навесом небеленого каменного дома сидел на скамье московский гость Федор Никитич Конев. Длинная седая борода украшала его полное, румяное лицо; высокий рост и дородность внушали к нему уважение с первого взгляда. Он был в лисьей шубе, покрытой тонким синим сукном, на голове имел бобровую шапку с бархатным верхом. Снаружи, над дверьми лавки с серебряными товарами, был образ в дорогом окладе за железною решеткою, пред которым денно и ночью теплилась лампада в светлом фонаре; у входа на столе лежали куски хлеба, калачи, сайки и мелкие деньги на медном блюде. К лавке приходили ежедневно нищие, хворые и увечные за милостынею, которую раздавал добрый Федор Конев, наделяя притом советом и добрым словом. Все прохожие кланялись Федору Никитичу, и даже гордые бояре и царедворцы здоровались с ним приветливо. Сидельцы его и приказчики запрашивали в лавку покупателей и торговались с ними; но сам хозяин наблюдал только за порядком, приходя в лавку по несколько раз в день, и занимался делами в своем жилье, в верхнем ярусе. Большая часть товаров Федора Никитича состо-

яла в церковных сосудах, окладах, лампадах, крестах, которые покупали люди благочестивые, вкладчики в церкви по обетам и настоятели богатых монастырей, украшавшие храмы Божий из доходов монастырских или из пожертвований и сборов с частных людей. Все первейшие бояре и даже сам царь Борис Федорович пред избранием на престол кушали хлеб-соль у Федора Никитича, который пользовался большою доверенностию богатого купечества, уважением всего сословия и любовью черного народа. Каждый приходил в нужде к Федору Коневу просить помощи, совета или заступления у бояр и других царских чиновников, а особенно у князя Василия Ивановича Шуйского, который имел к нему полную доверенность. Богатство Конева было несметное. Он торговал с Литвою и Персиею, выписывал дорогие камни из Царя-града и выменивал иностранную монету золотую и серебряную на русские товары в Архангельске, во Пскове, в Новгороде и в Москве. В огромных амбарах на Москве-реке и на городах хранились воск, сало, пенька, деготь и железо, которые скупали его приказчики и зимним путем свозили в складочные места. Многие бояре занимали деньги у Федора Никитича, и сам царь не гнушался его подарками. Конев три раза был головою гостиной сотни и отказался от сего почетного звания по старости лет и для лучшего наблюдения за ходом своих собственных дел, сохранив влияние на дела общественные.

К лавке подошел мещанин средних лет в смуром кафтане, снял шапку, поклонился низко купцу и сказал:

– Челом бьем батюшке Федору Никитичу!

– Ну, как поживаешь, все ли подобру-поздорову, сосед? – промолвил в ответ купец, кивнув головою.

– Все не счастливится, отец родной, – сказал мещанин. – Вот было срядился ехать в Углич за товаром, да приключилась беда, так и остался дома без работы.

– Не гостил бы, брат, по кружалам, так не было бы и беды. Я слышал, что ты сидел две недели в Приказе тайных дел и был допрашивай по "слову и делу".

– Грех да беда на кого не живет, – отвечал мещанин, тяжело вздохнув. – Ах, отец родной, страшно и вспомнить!

– Да как же вы выпустили-то молодца, который осмелился поносить святое царское имя? Видно, хмель подкосил вам ноги? Ведь вас было пятеро, а он один.

– Стрелец Петрушка Лукин и погнался было за ним, да он ушел в тесноте. К тому ж и дело-то было в сумерки, – сказал мещанин.

– Да из чего ж этот озорник вздумал бранить царя? Как пришло это к речи? Уж, верно, вы сами как-нибудь да связались в побранку с молодымцем или стали страшать? – сказал купец.

– Нет, батюшка, мы говорили про себя и даже не видали его, а он сам вдруг взбеленился ни к селу, ни к городу, – отвечал мещанин.

– Что ж он говорил про царя? В чем упрекал его? – спросил купец.

– Виноват, грешный; прости батюшка, перед тобою не утаишь, – сказал мещанин. – От страха мы не сказали в приказе, что было говорено, да и спрашивали одного стрельца Петрушку, а нам только велено подтвердить допрос, и то однажды. Ох, родимой, страшно подумать, что сказал молодой парень в кружале; не то чтоб худое про царя, а дело великое.

– Поди-ка со мной наверх да расскажи все, как было, – сказал Федор Конев. – Не бойся, говори правду; ты знаешь, что я не доведу тебя до беды, а разве вытаску из беды, когда можно. – Мещанин низко поклонился купцу, и они пошли в верхнее жилье.

Чрез полчаса Федор Конев возвратился в лавку. Он был бледен, и на лице его приметно было смущение.

– Ну, ступай с Богом домой, – сказал он мещанину.

– Да ведь я пришел к тебе за своим делом, отец родной, – сказал мещанин, низко поклонясь. – Твои обозы пойдут к городу Архангельску по первому зимнему пути: не дашь ли мне

местечка, кормилец? Придется жене и детям сидеть зиму голодом, если ты не пособишь. Ведь я уже служил тебе во обозных приказчиках, и ты всегда оставался доволен.

– Хорошо, хорошо, – отвечал купец, – теперь мне не досужно; приходи в другое время, в середине недели. Я дам тебе место.

Мещанин поклонился и пошел домой. Федор Конев сел на скамью и погрузился в думу.

В это время подошел к нему купец из Скорнячного ряда, Семен Ильич Тараканов, старинный Друг его и ровесник.

– Что призадумался, кум? – сказал Тараканов, ударив Конева по плечу. – Слышал ли ты вести?

– Вести, какие? – спросил торопливо Конев.

– Говорят под рукою, будто царевич Димитрий Иванович не убит в Угличе, а цел и невредим.

– Господи, воля твоя! Что ты говоришь, кум? Знаешь ли, что за это можно поплатиться головою? – сказал Конев.

– Ведь не я его убивал, не я и воскрешал, – возразил Тараканов. – Сын мой, Мишка, твой крестник, ходил к празднику в Александровскую слободу; там он загулял с приятелями, и за чарою меду крылошанин Чудова монастыря Мисаил Повадин, тот самый, которого дядя торговал в Железном ряду, сказал им за тайну, что царевич Димитрий жив.

– Мисаил Повадин! знаю его, только нельзя ему много верить, – возразил Конев. – В мирянах он был человек распутный, а как видно, и теперь не к добру ходит к праздникам. Только это не его выдумка, а есть тут что-то мудреное. Мисаил Повадин! Как можно открыть такое важное дело этому человеку! Впрочем, один Бог знает, как дела делаются: и по заячьему следу доходят до медвежьей берлоги. Где же находится царевич – если он жив?

– Мисаил не сказал этого. Он говорит только, что слышал это от своей братьи, – отвечал Тараканов.

– Если весть эта дойдет до царя, то будет много беды. Не пропустят этого без розыска, а попасться в руки приказных – не оберешься хлопот! Я советовал бы тебе молчать, кум, да и сыну приказать, чтоб он держал язык за зубами, – сказал Конев.

– Да ведь Мисаил говорил не одному Мишке, а целой беседе за кружкою: так этого не утаишь, – возразил Тараканов.

– Правда твоя! Уж лучше выдать этого Мисаила; пусть его отвечает один за всех, – сказал Конев.

– Ну, а как он говорит правду, так подумай, кум, какой грех возьмем на душу, изменив царевичу законному! – возразил Тараканов.

– Какая тут измена, когда нам никто не поверял за тайну и никто не требовал крестного целования? – сказал Конев.

– Да ведь мы прежде целовали крест всему царскому роду и присягнули на верность Борису Федоровичу потому только, что царское племя извелось на Руси, – отвечал Тараканов. – А если царевич жив, так и мы его, а не Борисовы.

– Пустое мелешь, кум! И без царевича Димитрия были ближние роды боярские и княжеские к царскому престолу. Бориса Федоровича выбрали собором, патриарх благословил его, мы целовали крест, так и дело с концом, – сказал Конев.

– Нет, куманек. Я хоть и не силен в книжном деле, а слышал с ребячества от умных людей, что царей избирать волен один Бог, а не мы, грешные, – отвечал Тараканов.

– Нет спору! Да ведь Господь Бог посадил Бориса Федоровича на царство, так наше дело сторона, – возразил Конев.

– Оно так! Да посмотрим, что будет, – сказал Тараканов. – Уж когда царевич в самом деле жив, так быть великой смуте!

– Да, если он подлинно жив, так не попадайся... но я дал бы дорого, чтоб не знать и не слышать этих вестей, – сказал Конев.

– Правда, и меня мороз по коже подирает, как я подумаю об розысках, следствиях, расспросах, вопросах, пытках, как было в то время, когда разнеслись вести, что царевич не сам себя убил, а что извели его злодеи по приказу... Ну, уж обрадуются наши дьяки да подьячие! Ох, это крапивное семя!.. Они радуются всякому злему умыслу, как доброму урожаю. Беда православным – их товар, с которого они берут барыши. Недаром поп Никита говорит, что, если б царь прогневался на месяц, зачем не светло светит, то они и месяц на небе ободрали бы зубами, как липочку. Был я у них в руках, лукавый их побери! Вот от того моя кручина, чтоб вести не разнеслись да не пошли снова розыски да обыски! Тогда приказные нападут прямехонько на тех, кто побогаче да послабее, как голодные волки на жирных овец.

– Не бойся! Царь Борис Федорович страшится не нас, а своих бояр. От них-то, думаю я, и эти вести, и вся беда, – отвечал Конев.

– Да ведь царь-то не сам станет узнавать да спрашивать, – возразил Тараканов. – Подумай хорошенько, куманек, что делать? Ведь я пришел к тебе за советом, – сказал Тараканов.

– Утро вечера мудренее, – отвечал Конев. – Новое солнышко принесет новую мысль и совет.

В это время подошел к разговаривающим монах, перекрестился пред образом, поклонился купцам и, вынув из-под рясы кадильницу, подал Коневу и сказал:

– Архимандрит кланяется тебе, Федор Никитич, и посылает отцовское благословение. Вели починить это кадило на счет казны монастырской.

Конев принял кадило, отвечал поклоном и сказал:

– Здорово ли поживаешь, отче Леонид? Тебя давно не видать.

– Я отлучался из Москвы по делам монастырским, – отвечал монах.

– Вот то-то и беда, что ваша братья ищут более дел за стенами монастырскими, нежели в ограде! Не к тебе речь, отче Леонид, но чернецы вашего Чудова монастыря любят разглашать вести, которые иногда могут довести православных до соблазна, до греха и до беды!

Монах пристально посмотрел на обоих купцов и заметил смущение на лице Тараканова.

– Добрые чернецы не разглашают пустых вестей, – сказал Леонид, – а если пускают в народ вести, то справедливые, с соизволения Божиего.

– Слышишь ли, кум? – сказал Тараканов.

– Нет, отче Леонид, – возразил Конев. – Иногда и монашеские вести похожи на сказку. Например, если б кто тебе стал рассказывать, что умерший и погребенный восстал из могилы?

Леонид хотел что-то сказать, разинул рот и остановился. Потом, посмотрев проницательно на Конева, сказал:

– А давно ли ты, Федор Никитич, стал сомневаться в силе Господней, творящей чудеса по произволу?

– О, я не сомневаюсь в чудесах и знаю, что сам господь Бог наш, Иисус Христос, воскрес из мертвых и запечатлел святую нашу веру своим воскресением; но здесь дело не о чудесах, а просто о делах человеческих... Как бы тебе сказать... Например, если б тебе сказали, что блаженной памяти царь Феодор Иванович, которого мы со слезами схоронили в могиле, воскрес или вовсе не умирал. Что бы ты сказал тогда?

– Что всякое дело возможно и что мудростию человеческою нельзя постигнуть промысла Всевышнего. "Мудрость бо человеческая буйство у Бога есть", как гласит Писание, – отвечал Леонид, смотря в лицо купцам, которые поглядывали друг на друга с беспокойством и смущением.

– Крылошанин вашего монастыря Мисаил Повадин ведет жизнь нетрезвую и часто болтает лишнее, – сказал Тараканов.

– К чему мне знать, а тебе говорить это? – отвечал Леонид. – Ни ты, ни я не старшие над братом Мисаилом; как поживет, так и будет отвечать пред Богом!

– Ну, уж воля твоя, отче Леонид, а я бы не стал верить, если б мне рассказал что мудреное брат Мисаил, – сказал Конев.

– Бездушен колокол, но благовестит во славу Божию волею честных и православных святителей. И бесы не отвергают истины – бытия Божия. Весть – слово, все равно, кто бы ни молвил. Истина переходит в народ иногда из скверных уст, как чистая вода источника из мутного болота. "Сего ради подобает нам лишше внимати слышанным, да не когда отпадем", – сказал апостол Павел (32).

– Мы люди не ученые и не можем спорить с вами, книжниками, – сказал Конев. – Не хочешь ли подкрепить силы чем-нибудь, отче Леонид? Пойдем ко мне наверх.

– Спасибо! Мне некогда: я должен возвратиться в монастырь. – Леонид, сказав сие, откланялся купцам и пошел в обратный путь.

– Ну, что бы тебе порасспросить хорошенько отца Леонида, – сказал Тараканов, – видишь ли, что и он как будто намекал о чуде...

– Поди ты с Богом: я знаю отца Леонида! – отвечал Конев. – Нет хитрее, нет мудрее его в целой Московской епархии. С ним беда связаться на речах. Он, верно, сам выпытывал нас, чтоб выставить вперед. Но как бы ни было, а дело нешуточное. Мы завтра поговорим с тобою об этом, а теперь прощай: мне надобно за делом сходить в Царь-город.

\* \* \*

Народ толпился на Красной площади, пользуясь праздничным днем и приятною погодой. Молодые люди лакомились орехами и пряниками, которые разносили на лотках мелкие торговцы; одни играли в свайку, другие в кружке распевали песни; иные слушали веселых рассказчиков и громким хохотом изъясляли свое удовольствие. Старики разговаривали между собою о делах, о торге, работах, подрядах. Пестрые толпы, как волны, переливались из одного конца площади в другой; шум и говор составляли один протяжный гул.

Вдруг толпы поколебались, и из всех концов площади народ устремился на середину. Пожилая женщина с растрепанными волосами, босоногая, покрытая поверх рубахи куском полотна, медленными шагами шла между народом, который раздавался перед нею и с боязнию поглядывал на нее, забегая вперед. Женщина несколько раз останавливалась, осматривалась кругом и, пропев петухом, продолжала путь.

– Что такое? что за диво? – восклицали из толпы люди, немогшие видеть, что происходило в середине.

– Кликуша! – отвечали вполголоса близкие к женщине.

– Кликуша! – повторяли другие громче, и наконец на целой площади раздался клик: "Кликуша! Кликуша!" (33)

– Это Матрена, вдова ткача Никиты из Красного села, – сказал один пожилой человек своему соседу. – Ее испортил колдун года три перед сим. Она бросила дом и детей и летом бродит по лесам и болотам, а зимою по селениям и заходит иногда в город. В ней поселился бес, да такой злой, что никак нельзя его выгнать. Он корчит и мучает ее, прикидывается то петухом, то собакою, то поросенком и кричит из нее, лает и хрюкает днем и ночью. Иногда бедная Матрена приходит в бешенство и мечется в огонь и воду; иногда она пророчит. Сеньке Лопате, купцу в Шапочном ряду, предсказала смерть; дьяку Шуйскому – тюрьму и побои, а в Скородоме – пожар. Не подходи близко, сосед, чтоб не наткнуться на беду.

Сосед перекрестился и сказал:

– Чур меня, чур меня! С нами крестная сила!

– Да воскреснет Бог и расточатся врази его! – промолвил другой, слышавший разговор.

Кликуша остановилась, запрыгала на одном месте, залаяла собакою, потом присела, поджав ноги, закрылась полотном и завопила ужасным голосом.

– Бес мучит ее! – воскликнул кто-то в толпе. – Уйдем, чтоб он не вылез, – повторил другой. – Нет, он не сделает зла крестному без воли Господней, а как придет судьба, так и под землю не укроешься, – примолвил третий. – Ну как она кинется на людей? – спросил первый. – Не бойся, она не бросается на крест, – отвечал другой. Вдруг кликуша сбросила с лица полотно, угрюмо посмотрела кругом и сказала:

– Что вы оставили на меня глаза? Вам любо, любо! Пойдите, придет и на вас черный год! Запоет петухом и сам царь Борис Федорович, завизжите и вы поросятами, как ударит углицкий колокол!

Кликуша умолкла, и люди посматривали друг на друга с изумлением и стали перешептываться в толпе. Первый голос. Что это значит? Другой голос. А господь Бог ведает! Третий голос. Вздор мелет!

Четвертый голос. Что за углицкий колокол! Кликуша снова стала говорить:

– Ах, вы, окаянные! на кого вы подняли руки? Чью кровь пролили? Кого увенчали? Вы слепы и глухи. Вы не видите этой черной тучи над вашими головами. Посмотрите: вот она спускается все ниже и ниже: вот гремит гром, блестит молния! Ах, какой крик, какой шум! Вот из земли бьет дым столбом, вот пламя! – Кликуша замолчала на несколько минут и вдруг завизжала пронзительным голосом. Народ пришел в ужас. – Не пущу, не пущу! – закричала кликуша и запела: "Черти пляшут, черти скачут, черти веселятся!" Потом, приняв грозный вид, возопила: "Море, море, реки, озера кровавые! За каждую капельку углицкой крови заплатите реками крови. Ха, ха, ха! Войско, рать! Прощай, царь Борис Федорович, вечная память! Прощайте, добрые люди, ложитесь спать в сырую землю! Вот звонит углицкий колокол! Пора, пора, домой, в лес, в болото!" – Кликуша снова пропела петухом, завизжала и пустилась бежать в Замоскворечье. Народ расступился и не смел ее преследовать. Молчание водворилось в уstraшенных толпах; все поглядывали с беспокойством друг на друга; никто не смел спрашивать, никто не смел толковать.

Внезапно раздался крик и шум на другом конце площади. "Лови, лови, бей, бей!" – послышалось со всех сторон. Три черные лисицы взбежали на площадь и, увиваясь между толпами народа, который бросал в них шапками и рукавицами, безвредно пробежали от рядов чрез Лобное место, чрез Красную площадь, устремились в ту сторону, куда ушла кликуша, и скрылись.

– Господи, воля твоя! – сказал, перекрестясь, седой старик, торговец из Рыбного ряда. – Уж впрямь чудеса! Среди бела дня, между народом, бегают дикие звери, как по темному лесу. Уж, видно, запустеть Москве белокаменной за тяжкие грехи наши! Недаром пророчила кликуша беду великую, недаром ей видится кровь и огонь! Охти мне, грешному!

– Полно, дедушка, тосковать по-пустому, – сказал молодой писец. – Кликуша эта просто бешеная баба, мелет вздор, что уши вянут! Привиделся ей Углич с колоколом, буря среди красного дня и огонь перед морозами! Морочит народ; а как бы недельные приставы прислушали, то захлестали бы бабу так, что и черт из нее вылез бы, как ворона из старого гнезда. Что мудреного, что лисицы пробежали городом? Верно, кто-нибудь привез на продажу да выпустил ненарочно.

– Не грехи, сынок, не грехи! – сказал старик. – В кликуше сидит дьявол, а он не боится ни приставов, ни дьяков.

– Да оттого, что они родные братья! – воскликнул стрелец.

– Эй, не смейтесь вы, молодцы! – возразил старик, – не яйцам учить кур; не вам, молкососам, толковать нам, старикам, о чудесах. Знаете ли вы, что значит углицкая кровь, углиц-

кий колокол? Не знаете или не помните. А где погубили-то царевича Димитрия Ивановича? Ведь царская кровь святая, и за нее придется отвечать всему народу православному, как евреям за кровь Спасителя. Не кликуша накликала это, а то же говорят люди письменные, святители, честные монахи, схимники. Невинная кровь вопиет на небо! Господи, прости и помилуй! – Старик перекрестился и замолчал.

– Послушай, дедушка! Если ты только об этом кручинишься, так успокойся. Скажу тебе за великую тайну, и тебе, братец Алеша, что царевич Димитрий Иванович не убит в Угличе, а жив и здоров, как мы.

– Царевич Димитрий жив! – воскликнули в один голос старик и молодой писец.

– Тише, тише! – возразил стрелец. – Мне сказал это десятник наш Петрушка Лукин. Он слышал это от какого-то молодца в кружале на Бальчуге. Этот молодец бросил им на стол кучу серебра, велел пить за здоровье царевича Димитрия. Десятник закричал было "слово и дело", но молодец скрылся, и Петрушка промолчал на допросе, что слышал, а сказал только, что пьяный удалец бранил царя. Какой-то чернец дал также деньги нищим, чтоб молились за здоровье царевича Димитрия, примолвив, что он жив и здоров. Вот видишь ли, что кликуша не лжет.

– Царевич жив! – сказал старик. – Господи, спаси его! Увидим ли мы его, родимого, наше красное солнышко?

– Уж когда жив, так, верно, он не оставит нас, своих деток, – отвечал писец. – Была бы весть справедлива.

– Кому выдумать такое диво! – воскликнул стрелец. – Не был бы жив – так и вестей бы не было об нем.

– А все-таки кликуша сказала правду, – возразил старик, – ведь и за него пролито много невинной крови в Угличе, а когда бы Бог привел его к нам, то уж не обошлось бы без великой беды. Что пришлось бы делать царю Борису Федоровичу?

– Уж это не наше дело, дедушка, – сказал писец, – кто как постелет, так и выспится.

– Где ж укрывается наш царевич, наша надежда? – спросил старик.

– Одному Богу ведомо! – отвечал стрелец.

– Конечно, Бог хранит его. Куда ему, бедному, приклонить голову? Отчину-то его, матушку Россию, прибрал царь Борис Федорович! – сказал старик.

– Поживем, увидим; только чур никому ни слова, а то и мне и вам – погибель! – сказал стрелец.

– Пора домой, народ расходится, – примолвил старик. – Смотри, как все перешептываются, как все приуныли. Кликуша напугала народ; да нельзя и не бояться наважденного дьяволом. Я думаю, что и эти лисицы – оборотни. Как бы им уйти посреди народа? Ох, детки, быть большой беде! Сердце-вещун говорит что-то недоброе. Зайти-ка к вечерне да помолиться за здоровье царевича Димитрия: да здравствует он многия лета!

## ГЛАВА VI

*Счастье честолюбцев. Царский шут. Слабость сильных. Донос. Лыстец. Царская палка.*

Отдохнув после обеда, царь Борис Федорович сидел у окна в своей палате и смотрел на обширную Москву, которой концы скрывались от глаз в синем тумане. Погруженный в думу, он не приметил, как царица вошла в комнату и села возле него.

– Борис, друг мой! что ты невесел? – сказала царица, положив руку на плечо своего супруга. Борис Федорович быстро оглянулся.

– Ах, это ты, Мария! Что у тебя за дело, чего ты хочешь? – спросил он.

– Неужели и жене приходится к тебе за делом, с просьбами, – возразила царица Мария Григорьевна, – я пришла посидеть с тобою, побеседовать. Мы теперь так редко видимся!

– Друг мой, – сказал Борис, – я теперь отец не одного моего семейства; целая Россия – моя семья. Для моего рода я все сделал, что может сделать человек на земле, для России я должен трудиться до конца жизни. Я добровольно взял на себя эту обязанность.

– Правда! Но какую награду получаешь ты за эти труды? – возразила царица. – Ты все становишься мрачнее, угрюмее. Тайная грусть снедает тебя и отравляет счастье всех твоих ближних. Сколько раз ты говорил мне с восторгом о своих великих надеждах, сколько раз ты описывал мне райское счастье венценосцев! Наконец ты достигнул того, чего желал: ты царь и самодержец России; но с тех пор, как ты возложил венец на свою голову, черные мысли поселились в ней, веселье исчезло из сердца – и мы не узнаем в царе Борисе ласкового, приветливого Годунова: все переменилось! Где же то счастье, за которым ты гонялся?

– Ты права, совершенно права, любезная Мария! – воскликнул царь. – Я думал, я верил, что величайшее блаженство на земле – власть, и, признаюсь, ошибся. Честь, жизнь, имение миллионов людей есть моя собственность; воля моя – закон; слово – приговор судьбы; но эта власть не делает меня счастливым! Власть была предметом всех моих желаний и помышлений, а теперь она же служит источником всех моих опасений и беспокойства. Страшно потерять то, что стоило стольких трудов! Ужасно владеть предметом зависти всех честолюбцев, всех дерзновенных! При царе Иване Васильевиче все мы не были уверены в одной минуте нашей жизни, но самая эта боязнь доставляла нам радости: мы наслаждались, подобно пловцу по бурным морям, который тешится, преодолевая опасности. Тогда я думал: как счастлив тот, которого все боятся и который не боится никого! Наконец, вот я тот самый, которого все страшатся – но и я, неустрашимый, познал боязнь! Кого боятся, того не могут любить. Кто все может отнять, того дары ненадежны. Против государя законного, рожденного на троне, бояре и народ могут роптать, могут его не любить; но как бы он ни был жесток и несправедлив, никто не может осмелиться мериться с ним правами на власть. Напротив того, меня, государя избранного, судят иначе. Любезный друг Мария! Верь мне, что яд и чародейство давно уже устремлены противу меня!

– Яд и чародейство, Боже мой! – воскликнула царица, закрыв лицо руками.

– Да, яд и чародейство! – продолжал Борис. – Многие боярские роды помышляют о завладении престолом, опираясь на право рождения. Многих я знаю, многие скрываются во мраке. Я должен жить в уединении, как заключенный в темнице, остерегаться каждого входящего ко мне и выходящего от меня и с каждым днем ожидать несчастья, – Борис Федорович замолчал и задумался.

– Я не знаю твоих врагов, не знаю их умыслов, – сказала Мария, – но уверена, что народ любит тебя и благословляет за твою щедрость, правосудие.

– Народ, народ! – воскликнул Борис. – Это стадо, которое ревет радостно на тучной пажити, но не защитит пастыря от волков. Знаю я народ! Божество его – сила! В чьих руках милость и кара, тот и прав перед народом. Сего дня он славит царя Бориса, а пускай завтра мятежный боярин возложит венец на главу свою и заключит Бориса в оковы – народ станет поклоняться сильному и забудет о слабом. Так было во все времена, у всех народов, Мария, где на престоле не было царской крови. Оттого-то вся моя забота и все мои старания, чтоб усвоить венец в роде моем. Внук мой уже не будет знать этих опасностей, когда целое поколение возрастет в повиновении роду Годунова. Но я и сын мой Феодор, мы еще не у пристани.

– Ты нам говоришь всегда одно и то же, Борис, – сказала царица, – неужели эта ужасная мысль не может истребиться из твоей мудрой головы? Одна возможность измены лишает тебя спокойствия. На земле столько бедствий, и если б все предвидеть и всего страшиться, то не было бы в жизни спокойной минуты. Так я думаю – по-женски.

– Я ничего не боюсь за себя, друг мой Мария, но боюсь всего за вас, – сказал царь. – Боюсь, чтоб не сокрушилось то здание, которое я воздвигнул на собственном счастье. – Борис задумался. Мария встала тихо и вышла из комнаты, тяжело вздохнув и взглянув умоляющим взором на образа святых угодников.

Через несколько времени вошел в комнату горбун в желтом кафтане с красными рукавами и воротником, обшитым вокруг серебряными галунами. Борода у горбуна была подстрижена, волосы зачесаны назад. Он остановился перед царем, и, не кланяясь, сказал:

– Здравствуй, кормилец!

– Зачем ты сюда пришел без спросу, Кирюшка? – спросил царь с гневом своего шута.

– Матушка царица сказала мне, что тебе сгрустнулось, так я пришел полечить тебя. Вчера твои повара больно поколотили меня; с горя я убежал на кружечный двор. Там добрые люди употчевали меня медом и вином; хмель выгнал грусть и кручину, спина зажила, и я пропел и проплясал до ночи, а сегодня весел и здоров, как ни в чем не бывал. Вот тебе лекарство; дай, кормилец, за это полтину.

– Это лекарство для дураков; поди, лечи свою братью и убирайся прочь! – сказал Борис.

– Постой, кормилец, не сердись, – возразил шут. – Ты царь и государь наш, ты можешь делать что хочешь и можешь приказывать что тебе угодно. Сотвори милость рабу твоему Кирюшке! – При сих словах шут повалился в ноги государю.

– Ну, чего ты хочешь? Говори скорее, – сказал царь.

– Вот, изволишь видеть, родимой, – отвечал шут, – я ничего не люблю столько на свете, как есть, пить и спать. Сделай так, чтоб я мог есть и пить не тогда, как нужно, а тогда, как вздумаю, и столько на один раз, сколько съедают и выпивают сто твоих рейтаров. Сотвори, чтоб я мог спать по месяцу сряду, да еще сделай так, чтоб мне не больно было, когда твои дармоеды станут тормошить меня.

– Ты дурак! – сказал Борис, улыбнувшись. – Ешь, пей и спи, сколько хочешь и когда хочешь, а прочее не в моей власти.

– Не в твоей власти! – возразил шут. – Плохо, кормилец! Ну, так сделай, чтоб я не старелся. Красные девицы называют уж меня старым чертом, хотя я и подстригаю бороду.

– Глупец! Ты просишь невозможного, – сказал царь, развеселившись. Шут почесал голову и сказал:

– Так сделай, по крайней мере, чтоб я смеялся, когда хочется плакать.

– И этого не могу, – отвечал царь, улыбаясь.

– Так что же ты можешь, кормилец? – спросил шут, подбоченясь.

– Могу велеть тебя побить порядком и проморить голодом, чтоб ты не врал пустяков, – сказал царь весело.

– Можешь побить, а не можешь сделать, чтоб было не больно, когда бьют; можешь проморить голодом, а не можешь сделать, чтоб я ел и пил один за сотню, – сказал шут. – Невеликая же радость тебе, кормилец! Впрямь, я был дурак, что завидовал тебе, думая, что ты все можешь сделать, что захочешь! Твой сын Федька дал мне пять алтын: на, возьми, батько; может быть, тебе надобно более, нежели мне. Ты кормишь и поишь целые сотни дармоедов, а тебя никто не потчевает: я никого не кормлю, не пою, а меня же все потчевают даром. – Шут протянул руку с деньгами.

– Спасибо, Кирюшка! – сказал царь, смеясь, – мне не надобно денег.

– Так что ж тебе надобно? – спросил шут.

– Мне ничего не надобно: я все имею, чего пожелаю, – отвечал царь.

– Так, стало быть, тебе и желать нечего и радоваться нельзя, когда получишь, чего хотелось! – сказал шут, сложив руки крестом. – Дурак я был, что завидовал тебе, думая, что ты, сидя один, размышляешь, чего бы захотеть да как бы достать; а после веселишься, когда получишь!

Царь призадумался и сказал про себя: "Недаром умные люди делают глупости, когда и дураки умно рассуждают". Потом, обратясь к шуту, примолвил:

– А ты чего бы хотел?

– Новую пару платья, такую, как ты подарил Сеньке Годунову, который вдвое глупее меня. Он всегда сердится, хоть его никто не бьет, напротив, сам бьет других; а я смеюсь, хоть меня все щиплют, как опаренную курицу. Хочу иметь коня с сбруей, чтоб разезжать по Москве, как твой немец доктор, который чванится тем, что ему больные показывают язык; а мне так высовывают язык и здоровые. Хочу, чтоб ты дал мне вотчину, как князю Ваське Шуйскому. Не мудрено сгибать ему прямую спину, когда и мой горб гнется дугою перед тобой. Хочу, чтоб ты пожаловал меня стольником, как князя Тимошку Трубецкого, за вранье. Я заслужил более, потому что вру тебе втрое больше. Вот видишь, что я лучше всех твоих жалованных и так хочу...

– Постой, довольно, довольно! Радуйся же теперь, что ты многого желаешь. Не получишь ничего! – сказал царь, принужденно улыбаясь.

– Так подари хоть полтиной! – сказал шут, протянув руку.

Царь взял со стола полтину и дал шуту.

– Выторговал, выторговал! – воскликнул Кирюшка, запрыгав по комнате. – Послушай, отец родной, не гневайся, а твои бояре умнее тебя. Я у них выучился мастерски просить, а у тебя не хочу учиться бестолково давать. За твою полтину повторю тебе сказку, которую я сказал за гривну Ваньке Мстиславскому. Жила-была дойная корова; все нагибались перед и, чтоб доить молоко, а она думала, что ей кланяются. Вот и вся недолга! Мы, бедные, обираем вас, богатых; веселимся на ваш счет и платим вам поклонами. Вот и ты грустишь от того, что тебе нечего и не у кого просить и не перед кем кланяться. Прощай, кормилец, пойду протру глаза твоей полтине, она у тебя, чай, прислепла в темном углу.

Шут поклонился и вышел. Борис Федорович посмотрел ему вслед и сказал про себя: "Вот как правда пробивается сквозь грубую оболочку дурачества. Право, этот шут счастлив! Если б мне было не стыдно самого себя – я бы мог в тяжкие мои минуты позавидовать Кирюшке!"

Борис Федорович прошелся несколько раз по комнате, потом сел за свой письменный стол и стал перебирать бумаги. Сторожевой постельник вошел в дверь, низко поклонился царю и сказал:

– Боярин князь Василий Иванович Шуйский просит позволения бить челом тебе, великому государю, и переговорить о весьма важном деле, не терпящем отлагательства.

– Проведи его ко мне, – отвечал государь и продолжал перебирать бумаги.

Князь Василий Иванович вошел в палату, помолился, наклонился до земли царю и остановился возле дверей.

– Что скажешь, князь Василий? – спросил государь.

– Великий государь, – отвечал Шуйский, – в народе носится весть ужасная. Будучи предан тебе душою, я поспешил к тебе с донесением. Распространились слухи, что царевич Димитрий Иванович – жив!

– Жив! – воскликнул Борис, приподнявшись быстро со стула и побледнев, как полотно. Помолчав несколько, царь сказал: – Князь Василий! подумал ли ты о своей голове?

– Государь! я твой головою и животами, – отвечал Шуйский, – и без вины виноват, если усердие мое к извещению тебя о народных толках ты считаешь виною. Но я готов целовать крест, что ни делом, ни волею не участвую в сем злом умысле и, услышав сегодня сию весть, тотчас поспешил к тебе, великому государю, чтоб действовать, как ты прикажешь.

Борис Федорович сел в кресла, принял спокойный вид и сказал:

– Расскажи мне подробно, как и от кого ты услышал эту нелепую весть.

Боярин отвечал:

– Именитый московский гость Федька Конев пришел ко мне и сказал: "Князь Василий Иванович! великая смута готовится Московскому государству. Мещанин Сенька Лукошин признался мне, что он был в царском кружале с стрелецким десятником Петрушкою Лукиным, углецким ямщиком Силкою Васильевым, пономарем Чудовского монастыря Леонтьем да дворовым человеком боярина Федора Никитича Романова Ванькою; там они говорили о всякой всячине, и пономарь Леонтий сказал им, что какой-то чернец дал горсть серебра нищим на паперти церкви Вознесенья и велел им молиться за царевича Димитрия Ивановича, примолвив, что он жив. Когда же стрелец Петрушка сказал, что это ложь, то какой-то молодой человек, сидевший на краю, бросил на стол горсть ефимков, примолвив: "Чернец сказал правду, царевич Димитрий жив; пейте за его здоровье!" Петрушка закричал "слово и дело", но молодой человек ускользнул в толпе, а Петрушка, убоясь розыска, не объявил в Тайной об этом, а сказал только, что какой-то пьяница бранил тебя, государя". Гость Тараканов признался также Федьке Коневу, что сын его был на празднике в Александровской слободе, запил с приятелями и что навеселе крылошанин Чудова монастыря Мисаил Повадин сказал им также, что царевич Димитрий жив. Но где скрывается этот мнимый Димитрий, того никто не объявил. Вот все, что я знаю, и целую крест на этом. Как желаю спасения душе своей, так говорю тебе истину, великий государь!

Борис Федорович слушал внимательно повествование Шуйского, и когда он умолк, царь все еще, казалось, слушал. Наконец он сказал:

– Присядь, князь Василий, и напиши мне все имена и все обстоятельства этого дела, так, как ты мне теперь сказал.

Борис встал, и, пока Шуйский писал, он прохаживался медленно по комнате.

– Готово, государь! – сказал князь Шуйский, встав со стула.

Государь остановился, посмотрел на Шуйского и сказал:

– Это злодейский умысел моих врагов, чтоб нарушить мое спокойствие, чтоб утратить меня. Но если б земля разверзлась под моими ногами и небо обрушилось – погибну, но не утрашусь! Ты знаешь меня, князь Василий!

– Великий государь! – отвечал князь Шуйский, – нет сомнения, что это умысел твоих недоброжелателей. Открой нам их имена, и если б между ними был родной брат мой, я растерзаю его собственными руками в глазах твоих. Казнь и гибель изменникам!

– Нет, князь Василий, – сказал государь, – возлагая царский венец на главу мою, я клялся не проливать крови, наказывать преступников мерами исправительными, делиться с бедными последнею рубахою и собственностью моею награждать верную службу. Я сдержал клятву. Не хочу губить моих врагов: они мне не страшны при любви народной, при усер-

дии верных моих бояр. Но хочу открыть источник злого умысла, чтоб пресечь его в самом начале для блага общего, для спокойствия России. Я не думаю о себе, князь Василий: мне дорого спокойствие России.

– Ты – Россия, государь! – отвечал князь Шуйский. – Что значит семья без отца? Без пастыря овцы не стадо. Одна твоя спокойная минута – годы счастья для России. Осмеливаюсь умолять тебя, государь, именем отечества истреби с корнем враждебные тебе роды. Повели, я сам буду первым исполнителем твоей воли! – При сих словах князь Шуйский бросился в ноги государю и снова воскликнул: – Умоляю тебя, позволь изгубить злодеев, которые осмеливаются восставать противу спокойствия нашего отца, нашего государя законного!

– Встань, князь Василий, – сказал государь, – похваляю тебя за усердие к престолу и благодарю за любовь ко мне, но не хочу прибегать к средствам жестоким; России надобно отдохнуть после ужасов Иоаннова царствования. Мои средства – кротость и любовь. Опасность не так велика, как ты думаешь. Это сказка, сплетенная злыми людьми и пересказываемая глупыми, праздными и легковверными. Поговорят и позабудут! Ты сам был на следствии в Угличе, ты знаешь лучше других, остался ли в живых царевич Димитрий.

– Великий государь! – сказал с жаром Шуйский, – я своими глазами видел окровавленное его тело, своими руками ощупал глубокую язву в горле, держал нож, смывал кровь...

– Довольно, довольно! – воскликнул Борис, побледнев и содрогнувшись. – Ты должен свидетельствовать в истине смерти царевича, если будет нужно.

– Головою моею отвечаю! – сказал князь Шуйский.

– Теперь ступай домой с Богом, князь Василий, – сказал государь, – и до времени не говори никому ни слова.

Шуйский поклонился царю до земли и вышел. Борис позвал сторожевого постельника.

– Пошли конного человека к боярину Семену Никитичу Годунову, чтоб он немедленно явился ко мне, – сказал государь. Когда постельник вышел, Борис Федорович стал на колени перед образом и начал усердно молиться и класть земные поклоны.

Семен Никитич Годунов, дальний свойственник царя Бориса Федоровича, имел звание боярина и окольничьего, но не занимал никакой особенной должности, а был употребляем государем в различных делах. У Бориса Федоровича не было вовсе любимцев; никто не пользовался особенною его доверенностью. Он осыпал многих бояр своими царскими милостями; казна его была для всех открыта, но сердце затворено. Он иначе не беседовал с боярами, как при свидетелях, и поодиночке допускал к себе только по делам людей должностных. Никто не мог похвалиться предпочтением при дворе, царскою дружбою, привязанностью. Борис щедро награждал прежних друзей своих, помогавших ему к возвышению, но не терпел их при себе; не хотел, чтоб они были свидетелями его величия и припоминали ему прежнее состояние. Самые ближние бояре и царедворцы знали и видели Бориса Федоровича только как государя и никогда не проникали в подробности частной его жизни, не знали Бориса как человека, не делили с ним ни радостей, ни печалей. Царь Борис казался всем выше смертного: являлся всегда в царском величии и с одинакою важностью в делах и на пиршествах. Только жена, сын и дочь проникали в глубину души Борисовой. Для них только пылала нежная любовь в сердце угрюмого царя. Пред ними только Борис не скрывал ни радостей своих, ни надежд, ни печалей, ни опасений. Из всех родственников своих и свойственников, которых судьба тесно соединена была с его участью, Борис более употреблял боярина Семена Никитича Годунова, не по особой к нему любви или доверенности, но по непреклонности и суровости его нрава и по точности, с какою он исполнял царские поручения. Боярин Семен Никитич был нелюбим боярами и народом за свою жестокость и гордость. Все, что делалось дурного, приписывали наущениям Семена Никитича; всякое крутое или жестокое исполнение воли царской почитали делом боярина, вопреки царскому

желанию. Царь Борис Федорович в семейном своем кругу называл в шутку Семена Никитича своею *палкою*. На просьбы царевича Феодора удалить от важных дел боярина, ненавистного народу, Борис Федорович отвечал: «Он мне нужен как яма, куда сливается народная ненависть, не касаясь меня. Другие мои вельможи похищают у меня сокровище мое, любовь народную, а мой Семен Никитич копит его для меня и отдает с лихвою. Без зла нельзя обойтись для самого добра. И Господь Бог терпит дьяволов! Так пусть же Семен Никитич будет при мне земным сатанюю, если меня называют земным Богом. Я держу его на привязи и спускаю тогда только, когда нужно злом истребить зло. Он мне самому гнусен – но пригоден. Немецкий доктор мой говорит, что лютейшим ядом излечивают тяжелые недуги». – Так говорил и так думал о боярине Семене Никитиче царь Борис, а в народе завидовали счастью боярина Семена Годунова, думая, что он пользуется любовью и доверенностью государя!

Боярин Семен Никитич немедленно явился к царю. На зверском лице его изображалось беспокойство, смешанное с любопытством. Он поклонился царю и в безмолвии ожидал повелений.

– На, прочти это! – сказал государь, подавая боярину бумагу, написанную князем Васильем Ивановичем Шуйским. Бледное, сухощавое, покрытое морщинами лицо боярина Семена Никитича покрылось багровыми пятнами. Впалые глаза засверкали, и тонкие, едва приметные синеватые губы скривились. Злобная улыбка показалась на устах, как молния пред громом. Бумага дрожала в его руке. Царь Борис отвратил взоры от своего поверенного: страшно было смотреть на него!

– Ну, что скажешь, Семен Никитич? – спросил государь, когда боярин прочел бумагу и вперил в него свои кровожадные взоры.

– Всем один конец, – отвечал боярин, – камень на шею да в воду, начиная с князя Василья. Все детки одной наседки.

– Ты с ума сошел, Семен! – воскликнул Борис. – Скажи, что ты в самом деле думаешь об этом?

– Другой мысли у меня нет, – сказал боярин, – как схоронить злые языки вместе с злою молвой.

– Это невозможно! – возразил Борис. – Ведь это молва народная. Виноват ли тот, кто слышал? А может быть, таких наберется много, что слышали противу своей воли. Надобно сделать розыск и добраться до тех, которые распустили вести. В противном случае виноват и ты, что слышал от меня.

– Если б я услышал эту весть от другого, то на месте убил бы изменника, – отвечал боярин. – Так каждый должен был сделать, а кто не сделал – виноват!

– Помилуй, Семен, да ведь на это есть закон, – возразил государь. – Самоуправство гибельнее всех злоумышлений, потому что оно оправдывает злые умыслы.

– Злоумышление противу особы государя – вне закона, – отвечал боярин.

– Это правда, но надобно отыскать виновных, а не кидаться, как бешеному, на встречного и поперечного. Надобно порасспросить все лица, о которых упоминается в записке князя Василя, исключая самого князя.

– Позволь спросить, государь, а почему же не начать с князя Василя? – примолвил боярин.

– Потому, что он сам объявил все, что знает, – отвечал государь. – Я велю за ним тайно присматривать. Но трогать его ненадобно до поры до времени. Я не хочу тревожить бояр без нужды.

– Но это боярский умысел, – сказал Семен Никитич.

– И я так думаю, – отвечал Борис, – но надобно с точностью узнать, откуда именно вышли эти толки. Я надеюсь, что от твоего зоркого глаза не укроется истина.

– Я выжму признание из камня, – сказал боярин, – только дай мне волю, великий государь. Сего дня же всех в Сыскной приказ и в пытку!

– Не горячись, Семен! этим все испортишь, – сказал государь, – я не хочу этому делу придать важность, обратив на него внимание розыском, преследованием, заключением в темницы. Нет, надобно сделать все потихоньку, чтоб в Москве даже не знали, что мы производим следствие. Богатых купцов Конева и Тараканова должно под каким-нибудь предлогом выманить за город, отправить в дорогу, а в пути перехватить и привести ночью в Москву. Стрельца выслать, будто с ссыльным, в дальний город; других людей надобно также как-нибудь схватить и припрятать, так, чтоб никак не догадались, что они взяты в Тайный сыскной приказ. Понимаешь меня, Семен? Тихо, чинно, без шума, без соблазна! Более всего помни, что схваченным к допросу следует вперить: что я ничего не знаю об этом, что они заключены без моего ведома, одною твоею властью, по твоим подозрениям. Когда же доберемся до правды, виновных ты накажешь, а правых я помилую, пожурив тебя перед людьми за самоуправство и наградив тайком по-царски за верное исполнение моего поручения.

– Великий государь! надейся на меня, как на самого себя. Все сделаю, как хочешь и как велишь, – отвечал боярин.

– Как ты думаешь, Семен, неужели возможно, чтоб Димитрий-царевич в самом деле был жив? – спросил государь.

– Я знаю только, что он не *должен быть жив!* – отвечал боярин.

– Это так, – возразил Борис, – но я спрашиваю: неужели известие о его смерти в Угличе несправедливо; неужели он спасся... то есть, неужели он не умертвил сам себя?

– Качалова, Битяговского и Ждановой нет в живых, но столько людей видели труп царевича, хоронили его, скрепили свидетельство свое подписью и крестным целованием, что сомневаться не должно, – сказал боярин. – Впрочем, я стою на одном: сказано народу, что царевич погиб, так нет и не должно быть царевича Димитрия!

– Странное дело! – сказал государь. – Как могла родиться мысль, что царевич жив, после стольких лет всеобщей уверенности в его смерти? Злые люди разглашали разные вести о роде его смерти – это другое дело! Подозревать можно всякого. Но что он жив – это непостижимо! Неужели мог явиться человек столь дерзновенный, чтоб назвать себя царевичем? Нет! Это невозможно, совершенно невозможно, не правда ли?

– И я так думаю, что это одни слухи, – отвечал боярин. – Надобно быть безумным, чтоб подумать только назваться царевичем! Кто в здравом уме захочет добровольно подставить сердце под нож...

– Молчи ты с своими ножами! – сказал царь гневно. Потом, помолчав, продолжал: – Странно, непостижимо! как можно выдумать это? С чего они это взяли! – Борис, прошед несколько раз по комнате, сел в кресла, потупил глаза и сказал тихим голосом: – Я знаю, Семен, что ты не живешь с своею женою, что у тебя есть любовница...

– Виноват, государь, помилуй! – воскликнул боярин, бросившись к ногам Бориса.

– Не в том дело, не в том дело, Семен! – сказал государь. – Встань и выслушай до конца. Я знаю, что у тебя есть любовница, Федосья, которая, говорят, упражняется в чернокнижестве, предсказывает будущее, угадывает чужие тайны, если успеет дотронуться до человека; наводит недуги шепотом и лечит заговариванием, имеет какие-то талисманы, которые приносят счастье... Правда ли это?

– Великий государь! Правда, что Федосья гадает, предсказывает, но не может угадывать чужих тайн; не наводит недугов, не имеет талисманов. В этом клянусь тебе. У меня одно средство к узнанию тайны – пытка!

– Не бойся! ты думаешь, может быть, что я опасуюсь, чтоб она не узнала моих тайн. У меня перед тобою все открыто, любезный мой свойственник Семен Никитич; но я хотел

бы, чтоб она поворожила мне, предсказала будущее, и, если можно, не зная, что ворожит для меня (34). Видела ли она меня когда?

– Видела, государь, и знает тебя давно, – отвечал боярин, – ничего не хочу скрывать перед тобою. Но ты можешь смело положиться на ее скромность.

– Хорошо, пусть будет по-твоему, – сказал царь. – Итак, предуведомь ее и завтра, как смеркнется, приходи ко мне; мы вместе тайком пойдем к ней. Где она живет?

– Через дом от меня, – сказал боярин.

– Теперь ступай, Семен, и начни сыскное дело, – сказал царь, – только, пожалуйста, без шуму. Помни, что птиц ловят тихомолком, а только на больших зверей нападают с криком и шумом.

Боярин поклонился и хотел выйти.

– Постой, постой, Семен! – воскликнул царь. – Из ума вон! Забыл главное. В Москве должен быть странствующий чернец Григорий, из роду, помнится, Отрепьевых. Справься об нем в Чудове монастыре; он там часто бывает. Этот Григорий, как он говорил, пришел сюда из Киева и был до того в Иерусалиме и на Афонской горе. Он среднего роста, рыжеват волосом, бел лицом, молод, лет двадцати двух или трех. Я подозреваю его в кознях. Схватить его и припрятать до окончания розыска и свести на очные ставки с теми лицами, которые поименованы в записке князя Василя. Только в монастыре не делать шуму, повторяю!

Боярин вышел, и Борис стал прохаживаться медленно по комнате. Сходство монаха Григория с польским дворянином, которого он приметил в свите посла во время представления, это сходство сильно поразило Бориса. Теперь это пришло ему на память. Глаз его был изучен читать на лицах, и, невзирая на разность одежды, разительное сходство монаха с поляком не укрылось от пронизательных взоров Бориса. Черты лица дерзкого снотолкователя глубоко напечатлелись в сердце царя. Он раскаивался теперь, что не велел задержать снотолкователя; стал припоминать все слова, все иносказания монаха и еще более удостоверился, что чернец Григорий должен быть замешан в распускании вестей насчет Димитрия-царевича. Царь подозревал даже, что он – тот самый монах, который роздал нищим щедрую милостыню и велел им молиться за здравие Димитрия Иоанновича. Борис сел за письменный столик и, думая, что он еще не слишком настоятельно приказал боярину Семену Никитичу поймать чернеца Григория, написал письменное повеление:

"Боярин Семен Никитич! Во что бы ни стало должно поймать странствующего чернеца Григория Отрепьева. Противу него одного позволяю даже употребить явное насилие, ежели не будет других средств схватить его. Живой или мертвый, он должен быть в твоих руках. По моим соображениям, он должен быть виновнее всех. Писание сие возврати мне завтра, собственноручно, по старому обычаю. – *Царь Борис*".

Борис свернул письмо, запечатал, позвал сторожевого постельника и велел ему немедленно самому отдать в руки боярину Семену Годунову.

Царь Борис вознамерился расспросить на другой день пристава при послах польских о всех членах посольства и поразведать подробно о том молодом человеке, которого необыкновенное сходство с русским монахом встревожило его подозрительное сердце и посеяло черные мысли в его опытном уме. Между тем уже смерклось, и Борис пошел в терем к своей супруге.

## ГЛАВА VII

### *Бегство из Москвы. Предатель. Убийство.*

Еще не рассеялся мрак зимнего утра, но Леонид, при свете лампы, уже трудился в своей келье и переписывал хартию, данную ему Иваницким, о несчастиях Димитрия-царевича. Вдруг тихо постучались у дверей. Леонид спрятал рукопись за печь и отворил двери. Вошел давний его знакомый подьячий Андреян Тулупов; с беспокойством осмотрел комнату, выглянул в коридор и, взяв Леонида за руку, поспешно подвел его к окну и сказал:

– Да не покажется тебе странным, что я пришел к тебе в эту пору. Беда, беда великая нам угрожает! В городе разнеслись слухи о чудесном спасении царевича Димитрия, и весть о сем дошла до государя. Он повелел схватить всех, кто только повторял эту весть, всех, кто слышал, и злому боярину Семену Никитичу поручил сделать розыск. По несчастью, я слышал также о царевиче от крылошанина вашей обители Мисаила Повадина и, как верный россиянин, радовался перед другими спасению законного государя. Мисаила схватили под Москвою, и он показал на многих, а в том числе и на меня. Из вашей братии велено взять тебя, отца Варлаама и какого-то странствующего чернеца Григория из рода Отрепьевых. Родственник мой, служащий в Тайном сыском приказе, сказал мне, что нам не миновать пытки и что в наступающую ночь поберут всех нас в темницу. Я пришел к тебе предостеречь от угрожающей опасности и просить совета, что должно делать в этой беде.

Леонид во время сего повествования изменился в лице. Он подумал и сказал:

– Надобно бежать из Москвы, это одно средство к спасению. Мисаил изменил!.. Хотя я ни в чем не виноват, но боярин Семен Никитич привык искать жертв, а не истины. Надобно бежать!

– Знаешь ли ты этого отца Григория? – спросил подьячий. – Мисаил показал, что он твой приятель и проживал у тебя в келье. Надобно было бы предупредить его об угрожающей ему опасности.

– Откуда у тебя такое сострадание к неизвестному тебе человеку, Андреян? – сказал Леонид. – Надобно думать прежде о себе, а там уже о других.

– Я оттого сострадаю к незнакомому мне человеку, что его велено поймать непременно, преимущественно пред другими, и даже назначили великую награду за его голову, – сказал подьячий. – Признаюсь тебе, что, если в самом деле правда, что царевич жив, то я душой за ним и хотел бы спасти преданного ему человека: он, верно, знает много кое-что о царевиче, когда об нем хлопочут более, нежели о других.

– Не бойся за отца Григория! – отвечал Леонид. – Он нелегко попадет в силки, и убежище его безопасно от поисков.

– Но все-таки лучше предупредить, – возразил подьячий. – Пойдем, отче, и спасем доброго человека!

– Я не могу видеться с ним при чужих людях, – отвечал Леонид.

– Итак, спаси по крайней мере меня! – возразил подьячий жалобным голосом. – Я никогда не выезжал из Москвы и попаду в беду на первом ночлеге. Не знаю даже, куда бежать?

– Всякое место хорошо от казни и пытки, – сказал Леонид. – Если хочешь бежать с нами, достань себе монашескую рясу, запасись деньгами и ожидай в сумерки за Серпуховскою заставой, в роще, что направо от большой дороги. Я туда непременно явлюсь, быть может, с товарищем; свистну три раза – тогда выходи из лесу. Теперь ступай отсюда. Мне надобно в Москве исправить кое-какие дела.

Лишь только подьячий вышел, Леонид положил за пазуху свои бумаги, надел дорожную рясу, собрал все свои деньги и поспешил в келью к Варлааму, которого застал в постеле.

– Вставай, брат, бери посох и ступай за мною немедленно, – сказал Леонид.

– Куда, зачем? – спросил Варлаам, протирая глаза.

– Куда глаза глядят! – сказал Леонид. – Измена! Мисаил предал нас. Пытка и казнь нам угрожают!

Варлаам вскочил с постели и, смотря пристально на Леонида, долго не мог вымолвить слова.

– Измена! – воскликнул он наконец. – Что делать нам?

– Говорю тебе, бежать, и немедленно, – возразил Леонид. – Одевайся!

Через несколько минут Варлаам был одет. Леонид взял его за руку, и они вышли за монастырские ворота.

– Пойдем теперь к Иваницкому и уведомим его обо всем, – сказал Леонид. – Его ищут под другим именем, под именем отца Григория Отрепьева; но все надобно, чтоб он знал, что делается.

Едва Леонид успел вымолвить сии слова, как вдруг из-за угла монастырской стены предстал Иваницкий, в одежде русского купца.

– Мы к тебе! – воскликнули в один голос Леонид и Варлаам.

– А я к вам! – отвечал Иваницкий.

– Измена! – сказал Леонид. – Мы спасаемся бегством из Москвы... нас ищут...

– Все знаю, – сказал Иваницкий. – Но кто вас предуведомил об этом?

– Старый мой приятель, подьячий Андреян Тулупов, который также попал в нашу беду, – отвечал Леонид. – Он особенно беспокоился о тебе, то есть об отце Григорье Отрепьеве, сказав, что тебя велено схватить во что бы то ни стало.

– Обо мне беспокоился! – сказал Иваницкий. – Я поблагодарю его за это. Где он?

– Мы назначили свидание в роще, за Серпуховскою заставой, сего дня в сумерки. Днем опасно пуститься в путь, и мы хотим прождать в Москве до вечера. Здесь, как в лесу, не скоро отыщут; мы укроемся до вечера у приятеля.

– Хорошо, но куда же вы намерены бежать? – спросил Иваницкий.

– Сами не знаем куда! – отвечали монахи.

– Подождите же меня, я буду вашим путеводителем, – сказал Иваницкий. – Мне нельзя долее оставаться в Москве. Царь Борис имеет смышленных лазутчиков, и, отделившись от десяти, попадешься в руки одиннадцатому. Звание польского дворянина и переводчика литовского канцлера не спасет меня от мести Бориса. Для своего спокойствия он готов предательски известить не только целое посольство – целую Москву, Россию! Бегу с вами, пока прощайте; я буду в сумерки за Серпуховскою заставой; но пусть подьячий ждет нас в роще; а вы, друзья, подождите меня на постоялом дворе и не выдайтесь с ним прежде. Я должен встретиться с ним прежде вас и между прочим поблагодарить его за память обо мне.

Монахи пошли в одну сторону, а Иваницкий возвратился на Литовское подворье, переоделся и, лишь только канцлер Сапега встал с постели, велел доложить о себе и вошел в кабинет посла.

– Вельможный канцлер! – сказал Иваницкий, – поручение мое кончено. Теперь вы можете предлагать какие угодно условия к миру; я вас уверяю, что царь Борис согласится. Я возбудил противу него неприятеля – мнение народное. Борис, из опасения внутренних беспокоейств, согласится прекратить все внешние распри. Но мое положение становится здесь опасным: я еду в Польшу, сегодня же!

– Вам должно объясниться со мною подробнее, – отвечал Сапега. – За действия ваши отвечаю я пред королем и народом. Мне должно знать, на чем вы основываете свое предположение, что царь Борис согласится непременно на заключение мира. Что побуждает его к такой скорой перемене в мыслях и поступках и, наконец, какие средства вы употребили для успеха в столь важном деле?

– Вы не можете узнать от меня причины перемены Борисова намерения и моих средств, – отвечал Иваницкий хладнокровно. – Я не властен в чужих тайнах. Впрочем, зачем вам знать средства, когда следствия вам благоприятны? Я клянусь пред вами, Богом, честью, жизнью, всем, что мне священо в мире, что я действовал и действую в пользу Польши и ко вреду царя Бориса. Вам не долго ждать, чтоб увериться в истине слов моих. На первое ваше предложение об окончании переговоров царь согласится на мир. Чего же вам более? Вы за этим только сюда прибыли, того только желали и то только обещали королю и Сейму. Вы нашли трудности в исполнении своего намерения: я устранил их, привел вас к цели ваших желаний – и вы хотите непременно знать, какими средствами! Вельможный канцлер! я надеялся от вас более доверенности, более внимания к моим заслугам. Вам ручалось за меня целое Общество отцов иезуитов, ручалось за иноверца, зная меня. Чрез несколько дней истина слов моих подтвердится делом, а для того, чтоб вы были спокойны в течение нескольких дней, поручительство иезуитов довольно важно и должно оградить меня от всяких подозрений. Я бы мог отлучиться тайно, но я должен был вас предупредить, что наступило время к начатию переговоров и что обстоятельства, мною устроенные, вам благоприятны. Я трудился для вас, для Польши и, не подвергая ни вас, ни Польши ни малейшему подозрению, приблизился к той черте, где начинается опасность для меня одного – невидимой пружине всех действий. Итак, уважьте мои заслуги, мое самоотвержение: не утруждайте себя и меня излишними расспросами, будьте спокойны, уверены в успехе своего дела – и прощайте. В Польше я буду иметь честь явиться к вам и припомню ваши обещания ходатайствовать за меня у короля и народа.

Канцлер Сапега спокойно слушал речь Иваницкого, то посматривал на него, то отпуская глаза и, казалось, не знал, на что решиться. Давно уже Иваницкий кончил речь, но Сапега все еще молчал. Наконец он встал со стула и, взяв за руку Иваницкого, сказал:

– Мне ничего не остается, как верить вам, и я охотно следую сей необходимости. Если сбудется то, что вы предсказываете, вы можете всю жизнь требовать от меня защиты и покровительства. Увидим! Удерживать вас я не могу, если вы почитаете себя в опасности, но в теперешнем случае не могу пособить вам. Каким образом вы надеетесь достигнуть польских пределов в стране подозрений, между народом, который не осмелится послушаться приказаний своего государя?

– Это мое дело! – сказал Иваницкий. – Я ничего не требую от вас, кроме доброго расположения на будущее время и оправдания каким-нибудь вымыслом отлучки моей пред глазами посольства.

– Это я вам обещаю, – сказал Сапега, – на ваше место мы возьмем одного из молодых литовских купцов для пополнения числа свиты. Между тем позвольте предложить вам помощь: путеводителя, необходимого в странствии. – Сапега вынул из ящика кошелек с золотом и подал Иваницкому.

– Возьму заимообразно и благодарю вас, вельможный канцлер, за великодушие. Хотя я не нуждаюсь теперь в деньгах, но могут случиться непредвидимые обстоятельства, в которых спасение должно будет купить золотом. Прощайте!

Сапега обнял и поцеловал Иваницкого. Он пошел в свою каморку и, не застав Бучинского, написал к нему краткую записку, в которой уведомил о своем отъезде по делам службы и просил наблюдать за слугами, чтоб они не проговорились об его отлучке перед русскими приставами. Взяв свое оружие и небольшой узел, Иваницкий вышел из Литовского подворья, чтоб более туда не возвращаться.

\* \* \*

Едва начало смеркаться, кибитка, запряженная парой лошадей, остановилась перед постоянным двором за Серпуховскою заставой. В избу вошел щеголеватый купчик в синей лисьей шубе, опоясанный шелковым кушаком, сбросил с себя верхнюю одежду, сел за стол, потребовал водки и закуски и стал разговаривать с словоохотным стариком, дедом хозяйским, который лежал на печи.

– А что, батюшка, правда ли, что везде являются чудеса и знамения и будто письменные люди толкуют, что быть преставлению света? – спросил старик.

– Так толкуют, а Господь ведаёт, правда ли, – отвечал купец, – Только чернецы стали богомольные и толпами идут к святым местам. Я думаю, и к вам часто заходят чернецы, верно, были и сего дня. Так ты бы, дедушка, порасспросил их. Они искусны в книжном деле.

– Перед твоим приходом были два чернеца, да такие угрюмые, что страшно и заговорить с ними. Они заказали селянку и хотели быть назад, так поговори ты с ними, родимый! – сказал старик.

– Так здесь уже были два чернеца? – спросил купец.

– Были, батюшка, и опять воротятся, – отвечал старик. – А видел ли ты сам чудеса, родимый? – спросил он. – Я стар и плохо вижу, так редко выхожу за ворота.

– О каких же чудесах рассказывали тебе, дедушка? – спросил купец.

– Говорят, что по два солнца вместе, по два месяца являются на небе; что перед солнечным восходом видят кровавые кресты на облаках, что родильницы родят мертвых младенцев или уродов; что дикие звери бегают по городам, как по лесу, говорят много кое-чего (35). Господи, святая твоя воля, дожили до конца света! Ведь здесь, батюшка, собирается всякий народ, так наслышишься всяких речей, а все толкуют что-то недоброе. – Старик, сказав сие, перекрестился и заохал.

– Все правда, сущая правда, дедушка! – сказал купец. – Молись Богу за нас, грешных.

В сие время два монаха вошли в избу. Они поздоровались с купцом, велели подать заказанный ужин и вышли все трое за ворота.

– Ну, братцы, все готово, дай Бог скорее в путь, – сказал Иваницкий. – Я еду в Стародуб купцом; вот у меня и вид от дьяка Ефимьева, а для вас я заготовил патриаршую грамоту и указ для осмотра патриарших имений в Малороссии. Только б удалиться от Москвы, а далее опасаться нечего. У меня целый день ничего не было во рту; перекусим, да и с Богом.

– А наш бедный подьячий Андреян? – спросил Леонид. – Ведь он предостерег нас, и я обещал взять его с собою. Он, верно, дожидается нас в роще. Ведь без нас он пропадет, не зная дороги, ни места.

– Он не поедет с нами, но я приготовил для него безопасное убежище, – сказал Иваницкий. – После ужина ты, Варлаам, ступай один в рощу, вызови подьячего; скажи, что отец Григорий здесь и хочет с ним повидаться наедине, вот в этом овраге. Только не говори, что я переодет купцом, слышишь ли?

– Хорошо, все сделаю по твоему приказу, – отвечал Варлаам, – только пойдем прежде за трапезу. Я ослаб от голода и жажды.

– Смотрите же, братцы, на постоялом дворе не подавайте виду, что меня знаете. Если б даже случилось, чтоб нечаянно напали на нас приставы и захотели взять, то, если нельзя будет сопротивляться, сдавайтесь, но не показывайте, что меня знаете. Я освобожу вас из ада, не только из тюрьмы Борисовой. Теперь я купеческий сын Сенька Прорехин, и меня не отыскивает боярин Семен Никитич. Вот вам бумаги ваши! Спрячь их пока в сапог, Леонид; как выедем на большую дорогу, тогда они будут нужны. Теперь ступайте в избу, я приду после вас.

Хозяева постоялого двора по обыкновению не обращали никакого внимания на гостей, которые, сидя за одним столом, ели в молчании, как будто не примечая друг друга. Только старик с печи посматривал на гостей и досадовал, что купец не расспрашивает монахов о чудесах и о преставлении света. Старик то покашливал, то охал на печи, чтоб припомнить о себе купцу, но, видя, что он не примечает его знаков, сказал:

– Честной купец! как же толкуют книжники чудеса? Монахи посмотрели на него и на Иваницкого и продолжали ужинать.

– Теперь не до того, дедушка, – отвечал купец. – Поживешь годик, сам разгадаешь.

Между тем Варлаам, насытившись, встал и, дав знак товарищам, вышел. Иваницкий и Леонид расплатились с хозяевами и также вышли. Монах пошел пешком по большой дороге, а Иваницкий поехал малою рысью.

Ночь была темная, небо покрыто было облаками. Иваницкий своротил с дороги, привязал лошадей в кустах и дожидался Леонида на дороге.

– Стой при лошадях, брат! – сказал Иваницкий. – Я пришлю к тебе Варлаама, а сам переговорю наедине с подьячим. Будьте тверды и не трогайтесь с места, что б ни услышали. Я пойду в овраг.

– Что ты нового затеваешь? – спросил Леонид.

– Ничего, любезный друг! – сказал Иваницкий спокойно. – Я должен переговорить с подьячим; может быть, мы заспорим, зашумим, так я предостерегаю тебя, чтоб ты не беспокоился.

– Об чем вам спорить, об чем шуметь! – возразил Леонид. – Теперь ли к тому время и место? Судьба соединяет нас одною горькою участью: не спор нужен, а мир и согласие.

– Аминь! – сказал Иваницкий.

Овраг находился в тридцати шагах от того места, где стояла повозка.

– Вот они идут! – воскликнул Иваницкий и поспешил в овраг. Варлаам вскоре соединился с Леонидом и сказал, что подьячий долго отговаривался и не хотел идти с ним, приглашая отца Григория к себе, но, наконец, согласился с тем, чтоб всем немедленно возвратиться в рощу.

– Блудлив, как кошка, а труслив, как заяц! – сказал Леонид.

Вдруг в овраге раздался пронзительный стон. Монахи вздрогнули.

– Посмотрим, что это значит? – воскликнул Леонид и бросился к оврагу. Варлаам последовал за ним. Они прибегают туда и видят подьячего, Андреяна Тулупова, распростертого на земле, облитого кровью. Иваницкий стоял над ним с преобладающим ножом и, упершись ногою в живот несчастного, готовился нанести ему последний удар. Леонид схватил Иваницкого за руку и воскликнул:

– Что ты сделал, нечестивец?

– Убил предателя! – отвечал Иваницкий хладнокровно.

– Изъяснись, ради Бога, изъяснись! – сказал Варлаам.

– Это лазутчик, сыщик боярина Семена Никитича, – сказал Иваницкий. – Уже несколько дней, как я за ним наблюдаю. Он открыл тебе опасность для того только, чтоб узнать об моем убежище и поймать нас всех вместе. В роще находится десятка два вооруженных сыщиков, которые ждут, чтоб схватить нас. Мне все было известно, и я приготовил награду предателю. Говори, злодей, покайся! – завопил Иваницкий ужасным голосом.

– Виноват, простите! – сказал подьячий слабым голосом. – Отец Леонид! прими наказание грешника и помолись за душу мою.

– Ты изготовил душе своей место в аду, – сказал Иваницкий, – и я только слепое орудие высшего промысла! – С сим словом Иваницкий вонзил нож во внутренность несчастного, и он испустил последнее дыхание. В эту минуту из-за облаков проглянула луна и осветила

ужасное зрелище. Иваницкий стоял бледный, с ножом в руке, над окровавленным телом. Два монаха молились, отведя взоры от убиенного и убийцы.

– Так погибнет всякий изменник, всякий предатель царевича Димитрия Ивановича! – сказал Иваницкий, возвысив голос. – Это первая жертва на земле русской за гнусный умысел цареубийства.

Сказав сие, Иваницкий бросил окровавленный нож на мертвое тело и тихими шагами вышел из оврага. Два монаха следовали за ним в молчании. Пришедши к повозке, Иваницкий вынул свой узел, переделся с головы до ног и оставил в кустах окровавленную одежду.

– Садитесь! – сказал он онемевшим от ужаса монахам. Монахи сели в кибитку, Иваницкий взял вожжи и погнал во всю конскую прыть проселочным путем, с Серпуховской на Калужскую дорогу.

## ЧАСТЬ II

*Высота ли, высота поднебесная,  
Глубота ль, глубота океан-море;  
Широко раздолье по всей земле,  
Глубоки омуты Днепровские.*

*Древние российские стихотворения, собранные Киршию Даниловым*

## ГЛАВА I

*Безуспешный поиск. Чародейство. Политика царя Бориса. Составление ложного доноса.*

Сильная душа, подобно твердому металлу, нелегко принимает впечатления, но, получив однажды, удерживает навсегда. Царь Борис Федорович был выше своего века умом и познаниями в науке государственной и твердостью характера превосходил всех знаменитых россиян, своих современников; но он, наравне с другими, верил в чародейство, в предзнаменования и во влияние тел небесных на участь людей и целых народов. От детства он слышал рассказы о злых волшебниках, о предсказателях будущего и звездочетах, управлявших судьбою великих мужей древности и новых времен; в зрелом возрасте он читал в книгах о волхвах и оракулах и видел, что не только миряне, но и духовные верили сверхъестественным силам, стремящимся расстроить порядок и согласие в нравственном и физическом мире. Общая вера порождает чудеса. Беспреданно являлись люди, видевшие, слышавшие заклинания чародеев или испытавшие на себе их силу. Сами чародеи признавались в попытках и мучениях, что имеют связи с адом, а как пытка почиталась тогда единственным средством к открытию истины, то люди, не обращая внимания на причины, верили последствиям и собственное признание почитали выше всяких доводов. Кто не верил в то время в чародейство и астрологию, тот был почитаем нечестивым. Люди не осмеливались даже рассуждать о предметах, которые поселялись в их уме вместе со священными истинами и казались с ними неразлучными. В общем заблуждении века и великий ум Бориса утопал – подобно кормщику, погибающему вместе с кораблем во время бури.

Душевные волнения возбудили телесные страдания Борисовы: он томился подагрой, но и во время болезни питал желание увидиться как можно скорее с чародейкою Федосьею и узнать от нее будущую судьбу свою, которая обложилась тучами от снов и вестей. Уже Борис выздоравливал в марте месяце и мог прохаживаться с посохом по комнате. Вечером с субботы на воскресенье он велел позвать к себе боярина Семена Никитича Годунова.

– Я давно не видал тебя, Семен, – сказал государь. – Лекаря мои запретили мне заниматься делами, а особенно такими, которые бы могли меня беспокоить. Ну, скажи теперь, что ты выведал об этом ложно воскресшем царевиче?

– Государь! – отвечал боярин. – Конь тянет по силам, а человек действует по мере власти. Ты позволил мне допросить только несколько человек из черного народа, которых сам назначил, а от них я ничего не мог выведать, кроме того, что тебе уже известно. Ясно, что первая весть вышла от чернецов; но те, на которых падало подозрение, бежали из Москвы прежде, нежели ты поручил мне исследовать это дело.

– Как! и чернец Григорий Отрепьев скрылся? – спросил государь с изумлением.

– Не только чернец Григорий, но и тот поляк, который похож на него лицом. Он называется Иваницким. В посольстве сказали, что он пропал без вести.

– Предчувствие мое не обмануло меня! – воскликнул царь Борис. – Этот Григорий, этот пришлец – зловещий дух, распространивший пагубную весть. Это его работа! Если б поймать его, то все бы открылось!

– Великий государь, следы заговора обширного и опасного явны и неоспоримы. Один из моих верных лазутчиков и сыщиков убит при поимке чернецов Леонида и Григория. Крылошанин Мисаил уже был пойман и везен в Москву, но освобожден на дороге толпою вооруженных людей. Не одни вести, но и вооруженная сила действует во мраке! (36) В простом народе нечего открыть: один повторяет, что слышал от другого, и эта таинственная нить исчезает в Чудове монастыре.

– Узнал ли ты, по крайней мере, кто таков этот Григорий? – спросил государь.

– По розыску подтверждается, что он сказывался сыном галичанина, стрелецкого сотника Богдана Отрепьева, зарезанного в Москве литвином. Молодой Отрепьев в мирянах назывался Юрием и служил в доме Романовых и князя Черкасского. Он вступил в монашество на четырнадцатом году от рождения и переходил непрерывно из одного монастыря в другой: был в Суздале, в обители святого Евфимия, в галицкой Иоанна Предтечи и во многих других. В Чудове монастыре он был поставлен в иеродиакон, находился некоторое время при святейшем патриархе Иове для письма. Но, любя жизнь вольную, странническую, оставил место, обещавшее ему возвышение, чтоб пуститься в бродяжничество (37). С точностью нельзя было узнать, где он проводил большую часть жизни, но известно, что он несколько раз ходил в Литву, а теперь, возвратясь в Москву, объявил, что посещал святые места в Иерусалиме и проживал на Афонской горе. Григорий весьма искусен в деле книжном и даже сочинял каноны святым. По объявлению знавших его, нрава он тихого, но души беспокойной, не довольной ни миром, ни отшельничеством. Во время пребывания своего по монастырям он упражнялся в чтении книг духовных, а более разных рукописей, которые он собирал со тщанием. У него находили писания на языке неизвестном, и многие говорят, что он предан волшебству (38). Впрочем, он удалялся от общества чернецов, и никто не может сообщить о нем больших подробностей. Известно только, что он человек ученый, смелый и красноречивый (39).

– Так, это его работа! – воскликнул снова царь Борис. – Не узнал ли ты чего о поляке, похожем лицом на Григория?

– Чрез маршала посольства узнал я, что этот Иваницкий – дворянин из Польской Украины, русской веры, и дан Льву Сапеге иезуитами при отправлении посольства из Варшавы. О роде и племени его никто ничего не знает.

Борис задумался.

– Никогда не прошу себе, что я отпустил свободно этого чернеца, застав в моих царских палатах, – сказал царь. – Как теперь вижу перед собою этого Григория, с пылающими взглядами, с дерзкою речью на языке. По счастью для него, по несчастью для меня, он встретился со мною в минуту моей слабости... болезни! Ты говоришь, что он проживал в доме Романовых, князя Черкасского?

– Точно так, государь! – отвечал боярин.

– Это еще более удостоверяет меня в той истине, что этот злодей, Григорий Отрепьев, есть первый распространитель вести о царевиче, главнейшее орудие заговорщиков. Если только есть заговор, то Романовы должны быть первые, а за ними князь Черкасский...

– И князя Шуйские, государь! – примолвил боярин.

– Первые Романовы! – продолжал государь. – Они, по родству своему с иссякшим родом Рюриковым, более всех думают иметь права к венцу царскому. Я помню, что говорено было по смерти царя Феодора Ивановича (40). За все это они должны заплатить мне дорого. Бывал ли теперь в доме Романовых и родственника их, князя Черкасского, чернец Григорий Отрепьев?

– Я чрез лазутчиков моих расспрашивал слуг их, но слуги объявили, что, хотя знают чернеца Григория Отрепьева, но не видали его в доме более двух лет.

– Ложь! – сказал государь. – Может быть, для избежания подозрений они виделись в другом месте. Статочное ли дело, чтоб старинный слуга дома не посетил своих прежних господ, возвратясь из дальнего пути?

– И я так думаю, государь, – примолвил боярин.

Царь Борис Федорович, который во время этого разговора сидел в креслах, опустил голову на грудь и задумался. Помолчав немного, он поднял голову, устремил неподвижные взоры на боярина, долго смотрел на него в безмолвии и наконец сказал:

– Итак, чернец Григорий – старинный слуга Романовых! Хорошо, надобно засыпать нору, так и змеи не будут вокруг ее ползать. Ступай домой, Семен! Послезавтра я буду у тебя, а между тем подумаю, что должно делать. Помни, что ты должен иметь своих верных людей в доме Романовых.

Боярин поклонился и хотел выйти, но царь остановил его:

– Постой, вот тебе на расходы! – Борис вынул из ящика слиток золота и отдал его боярину, который в безмолвии удалился.

Прошло двое суток, и здоровье царя Бориса укрепилось стараниями иностранных медиков. Желание узнать скорее будущую свою участь чародейством Федосьи придало ему новые силы. В понедельник вечером боярин Семен Годунов пришел тайно во дворец. Царь Борис, переодевшись, вышел с ним скрытым ходом из Кремлевских палат и пошел пешком к дому, где жила Федосья.

Напрасно думают знатные и богатые люди, что развратное житье и козни можно скрыть от народа неприступностью и гордостью и заставить молчать жестокостью. Не только в Москве, но и в дальних городах России знали, что свирепый любимец царский, боярин Семен Годунов, презрел юную и прекрасную супругу и предался сердцем жене одного из своих служителей, Федосье, которая управляла им по своей воле. Общая молва называла Федосью чародейкою. Несколько раз отчаянные люди, забыв страх Божий и руководствуясь одним мщением, покушались на жизнь боярина, но покушения оставались безуспешными. Боярин Семен Годунов знал все домашние тайны других бояр или, по крайней мере, говорил, что знает; при ненависти народной он пользовался милостью государя, который искал любви народа, но не хотел пожертвовать ей удалением от дел ненавистного боярина; все это приписывали чародейству Федосьи; столь же ненавидели ее, как и самого боярина, и явно проклинали гнусную чету.

Но презрение народное не заграждает пути честолюбцам к силе и власти. Люди, высокие рождением и саном, но низкие душою, тайно искали милости у любовницы сильного и злобного вельможи. Целые сундуки у Федосьи завалены были подарками, дорогими тканями, серебром и жемчугами. В делах тяжбных, в спорах местничества искали милостивого заступления хитрой рабыни, которая имела влияние на судей и на вельмож придворных. Обвиненные в угнетении народа, в грабительстве и взятках не знали другого прибежища, кроме Федосьи, и подарками снискивали ее покровительство. Судьи, в угождение боярину Семену Годунову, решали дела по воле Федосьи, которая становилась беспрестанно сильнее, приобретая несметные сокровища и наводя страх общею молвой о своем чародействе.

К царю Борису доходили вести о злоупотреблениях боярина Семена Годунова и о хищничестве его любовницы. Но, имея надобность в точном исполнителе своей воли и привыкнув к его раболепному повиновению, царь думал, что награждает его, снисходя к его проступкам, и доволен был внутренне что народ имел предмет ненависти. Царь Борис, как уже было сказано, ревновал только к любви народной и строго взыскивал лишь с тех бояр, которые старались снискивать благоволение общее. Притом же он не всему верил, что было говорено насчет боярина Семена Годунова, испытав на себе клевету, порожденную завистью. Что

же касается до Федосьи, то, хотя, будучи сам примерным отцом семейства, он не мог одобрять поведения боярина, но не хотел явным соблазном расторгнуть сей постыдной связи, и притом, будучи суеверен, также страшился чародейства хитрой и злобной женщины.

Федосья, преданная корыстолюбию и не зная других радостей, кроме гнусного разврата и мести, прикрывала свои пороки усердием и преданностью к своему благодетелю. Боярин Семен Годунов, опасаясь отравы или порчи, не ел и не пил ничего наедине, что не было приготовлено руками его любовницы, и употреблял ее к выведыванию чужих тайн. Федосья имела связи со всеми старухами, промышляющими ворожбою, со всеми колдунами, покровительствовала им и награждала. Каждый слуга или чиновник, пришедший к ней с доносом и клеветою на своего господина или начальника, был уверен в милостивом приеме и в покровительстве. Повивальные бабки, лекарки, имевшие свободный доступ в дома бояр и знатнейших граждан, также были в связях с Федосьею. Она знала все, что делается и что говорится в Москве между друзьями и родственниками, и помогала боярину Семену Годунову в его розысках и допросах. Боярин наконец так привык смотреть на предметы глазами своей любовницы, что она сделалась для него необходимою, и он скорее бы решился расстаться со всеми родными, нежели со всезнающею Федосьею, которую он почитал благодетельствующею ему волшебницею.

Федосья с нетерпением ожидала прибытия государя и крайне беспокоилась, когда болезнь его воспрепятствовала сему свиданию, опасаясь, чтоб неприятели ее не воспротивились новому знакомству. Наконец боярин Семен Годунов уведомил ее, что сегодня вечером царь придет к ней на совещание. Федосья приготовилась к приему царя сообразно с понятием, какое имел об ней Борис Федорович.

В условленный час постучались у ворот дома, занимаемого Федосьею. Она сама отворила калитку и проводила государя в нетопленную баню. Боярин Семен Годунов остался в сенях, а царь вошел во внутренность, хотел перекреститься – и удержался, не видя нигде образов. Федосья остановилась у дверей, и когда государь сел на скамье, она поклонилась ему в пояс и ожидала в молчании его приказаний. В углу светилась лампада, и царь бросил взгляд на чародейку. Она ни в чертах лица, ни в одежде не имела ничего страшного и необыкновенного. Это была женщина лет сорока, полная, белокурая, со вздернутым носом. Серые глаза ее светились, как уголья. Она была одета в красный сарафан, на голове имела жемчужную повязку с красным бархатным верхом. Государь не ощутил никакого особенного впечатления при виде сей женщины, и это его ободрило.

– Я хотел узнать подругу моего верного слуги, – сказал Борис, – и сам пришел к тебе, Федосья. Я знаю, что ты предана моему роду, и за это благодарю тебя.

– Надежда-государь! – сказала Федосья, бросившись в ноги царю, – мы живем только и дышим твоею милостью и рады отдать за тебя жизнь нашу. Без тебя лютые враги, которых нажил Семен Никитич своею верною службою, растерзали бы его и меня за то, что мы денно и ночью печемся о твоей безопасности.

– Правда твоя, Федосья, у меня много врагов, которые рады были бы погубить всех моих верных слуг. Надобно быть осторожным, но ум человеческий не может всего предвидеть и открыть злоумышлению адских. Федосья! говорят, что ты искусна в тайной науке узнавать будущее. Скажи мне откровенно: что известно тебе о намерениях врагов моих, о будущей участи моего царского рода?

– Государь! я готова повиноваться тебе, – отвечала Федосья, – но можешь ли ты выдержать опыт? Ты должен молчать и смотреть на все хладнокровно, что бы ни происходило.

– Я затем и пришел сюда, – сказал государь. Федосья поклонилась в пояс и вышла.

Чрез четверть часа она возвратилась, но уже в другом виде. Белокурые ее волосы были распущены по плечам, вместо одежды на ней был саван. В правой руке она держала зажженную свечу зеленого воска, в левой несла небольшое корыто, прикрытое красным сукном. По

савану она была опоясана черным кушаком, за которым был широкий большой нож. Федосья остановилась посредине бани, придвинула скамейку, поставила на ней корыто, задула лампаду и прикрепила к стене зеленую свечу. Воротясь к корыту, она отбросила сукно, и царь, приподнявшись со скамьи, увидел черную кошку, связанную по лапам, с окутанным рылом. Чародейка вынула нож, махнула им три раза по воздуху, очертила себя кругом по полу и вонзила острие во внутренность животного, громко воскликнув: "Шайтан! Шайтан! Шайтан!" – Зарезанное животное стало биться и визжать: чародейка в другой раз ударила в него ножом и распорола его внутренность. Потом она нагнулась над корытом и начала шептать тихим голосом. Оборотясь к царю, она подозвала его движением руки. Лишь только царь Борис подошел к корыту, из внутренности зарезанной кошки вспыхнуло синее пламя, выползло несколько змей и выпрыгнуло множество мелких лягушек. Борис ужаснулся. Чародейка взяла его за руку, вывела чрез сени в избу и, оставив одного впотьмах, прихлопнула дверь. Дрожь проняла Бориса, он не мог собрать рассеянных мыслей, голова его кружилась, и он готов был упасть в обморок. Вдруг дверь отворилась, и чародейка вошла с лампадой, в прежнем одеянии, красном сарафане и жемчужной повязке. Поставив лампаду на стол, она поклонилась государю, отперла шкаф и, налив стакан воды, просила царя освежиться. Борис с жадностью поглотил воду: кровь в нем как будто засохла, а лицо было бледно, как полотно.

– Государь-надежда! – сказала Федосья, – по твоему желанию я должна была призвать подземные силы к открытию будущего. Ты видел диво, и если повелишь, я поведаю тебе, что мне открыто.

– Говори, – сказал царь, отирая пот с лица и вздохнув из глубины груди.

– Ты видел пламя во внутренности домашнего животного, видел змей и гадов. Это пламя мятежа и раздоров, которые замышляют приближенные твои бояре, лютые змеи, гнусные гады, питающиеся твоею кровью. Внутри твоих чертогов составляется заговор на пагубу твоего рода. Но как нож мой истребил сих животных и пламя пожрало их в печи, да истребит так меч и пламя врагов твоих, врагов отечества! Должно или погибнуть тебе с родом твоим, или погубить завистливых, мятежных бояр...

– Да погибнут же злодеи! – воскликнул государь, – если доброе мое расположение им ненавистно! Кто они таковы, наизменуй!

– Государь! – отвечала чародейка, – ты все узнаешь, потерпи.

Чародейка снова вышла за двери и возвратилась с зеркалом из полированной стали. Она снова зажгла зеленую свечу, потушила лампаду, села на пол в углу, пристально смотрела в зеркало, хотела что-то сказать, переменялась в лице и замолчала.

– Говори, что ты видишь в этом зеркале! – сказал царь с нетерпением.

– Неявственные образы, – отвечала чародейка. – Мне надобно повторить заклинания, но это я могу сделать в твоём отсутствии, государь. Теперь уже поздно. Послезавтра боярин Семен Никитич уведомит тебя о том, что я увижу в зеркале. С помощью подземных сил я заставлю врагов твоих показаться мне со всеми их замыслами. – Федосья встала, зажгла лампаду, погасила свечу и, взяв ковшик воды, пошептала в него и брызнула на одежду царя, примолвив: – Сгинь, пропади, нечистая сила!

– Прощай, Федосья! – сказал государь, вставая со скамьи. – Я не забуду твоей службы.

Федосья поклонилась в пояс и проводила Царя с крыльца. Боярин Семен Никитич Годунов дожидался Бориса у калитки. Государь был мрачен: он в безмолвии возвратился во дворец и, отпуская боярина, сказал ему:

– Семен, ты переговоришь с Федосьей и завтра явишься ко мне.

Когда человек утвердится в какой-нибудь мысли или в каком желании, тогда все, что клонится к подкреплению оных, находит доступ к его сердцу и рассудку. Царь Борис Федорович не мог верить, судя по себе, чтоб другие бояре были равнодушны к возвышению одного из своих товарищей, особенно поставляя младшего на степень высочайшей власти.

В этом убеждении все, что клонилось к тому, чтоб сделать подозрительными бояр, казалось ему справедливым. Не сомневаясь в истине чародейства, не предполагая обмана со стороны Федосьи, не думая, что ей легко было и зажечь огонь во внутренности убиенного животного и впустить в корыто гадов, Борис приписывал это силе сверхъестественной и твердо решился истребить своих мнимых врагов. Он с нетерпением ожидал известия от боярина Семена Никитича Годунова, провел ночь в размышлениях и не чувствовал расположения к занятию делами, когда поутру рано, после заутрени, дьяк Афанасий Власьев пришел к нему с докладом от Посольского приказа.

– С чем пришел, Афанасий? – сказал государь дьяку, который, поклонившись низко, развязывал узел с бумагами.

– Мне нет покоя от польского посла Льва Сапеги, – сказал дьяк. – Он грозитя сесть на коня и уехать из Москвы, не кончив дела (41). Вот уже около полугода мы его держим здесь, как в заточении, без всякого ответа.

– Поляки не теряют здесь времени, – отвечал государь, – они затевают здесь козни, рассевают вздорные вести. Надобно отправить их, надобно кончить деЛо. Что говорит Щелкалов?

– Он твердит все одно, что дурной мир лучше доброй брани и что лучше даровое лыко, чем купленный ремень.

– Наш Щелкалов устарел и начинает вздорить. Между государствами не то, что между частными людьми. Дурной мир ведет за собою брань, а добрая брань дает добрый мир. В делах государственных надобно действовать не тем умом и не тою совестью, что в делах гражданских. За что бьют дьяка в Судном приказе, за то награждают в Посольском. Поляки хитры и думают, что поглотили всю премудрость, но и мы с тобою, Афанасий, не биты в темя! Поляки настоятельно требуют мира, это значит, что они боятся войны. Итак, нам следует показывать, что мы не боимся войны и не намерены дать мира даром. Проволочка в заключении мира есть для нас выигрыш, потому что поставляет Россию в весьма выгодном виде между Польшею и Швециею, которые, воюя между собою, боятся, чтоб Россия не пристала к какой-нибудь стороне и не сделала значительного перевеса. Надобно стараться продлить выгодное положение, так точно, как надобно пещись о сохранении здоровья. Понимаешь ли, Афанасий? Мир без всякого выигрыша всегда будет время заключить, с тою стороною, которая одержит верх, но теперь надобно смотреть, где можно выторговать что-нибудь. От Польши требую утверждения моего титула царя и самодержца и согласия на присоединение к России древних Новгородских вотчин: Ями и Ингрии. Это настоящие мои требования; но, чтоб получить желаемое, надобно требовать вдесятеро более. Итак, мы должны настаивать об уступке нам Ливонии и Эстонии как собственности России со времен Ярослава. Как запросим *сто*, так поляки рады будут, когда отделаются, дав нам *десять*, а нам этого-то и надобно! Ну, видишь ли теперь, Афанасий, зачем я медлю и почему многого требую.

– Государь! – сказал дьяк, – Господь Бог наделил тебя мудростью превыше человеческой. Нам должно только повиноваться, удивляться и от тебя же учиться служить тебе.

– Итак, изготвь грамоту мирную, Афанасий. Но не именууй в ней Сигизмунда королем Швеции, а назови просто королем Польским, великим князем Литовским и иных. Когда Сапега станет спорить, скажи, что Сигизмунд не извещал ни царя Феодора Ивановича, ни меня о восшествии своем на шведский престол (42). Понимаешь, это предлог к отказу, а в самом деле мзда за упрямство Польши не называть русских царей иначе, как великими князьями, и острастка, намек, что мы можем признать королем Швеции Карла. Ты знаешь, что я непременно хочу иметь Нарву и устье Невы. Мне надобны берега морские с той стороны, и за это я готов помогать Карлу. Когда же мы откажем Сигизмунду в титуле Шведского короля, то он готов будет нам уступить еще что-нибудь.

– Итак, прикажешь, государь, писать грамоту на вечный мир? – спросил Власьев.

– Вечный! – возразил государь с улыбкою. – Это значит, до первого удобного случая к драке! Я тебе сказал, Афанасий, что надобно торговаться. Напиши условную мирную грамоту на десять лет. На первый случай и этого довольно. Только не забудь объявить Сапеге, что я не иначе соглашаюсь на заключение мира, как по просьбе сына моего, Феодора Борисовича (43), который особенно благоволит к Льву Сапеге. Слышишь ли, Афанасий? И в этом надобно подать вид, что мы не имеем нужды в мире и даем его из милости.

– Кого же изволишь назначить, государь, к подписанию мирных условий? – спросил дьяк.

– Не торопись, Афанасий, не торопись! Я сказал уже тебе, что нам надобно продлить наше положение между миром и войною. Сапеге не может согласиться на условия, которые мы ему предложим, а как я по многим причинам хочу удалить посольство из Москвы, не разрывая и не оканчивая переговоров, то ты и боярин Михайло Глебович Салтыков поедете в Литву, к Сигизмунду, и там решите дело по моему наказу. Но это не к спеху. Пусть нынешнее лето шведы подерутся с поляками, а к осени мы посмотрим, чем это кончится, и начнем свои дела. Теперь составить грамоту, объявить Сапеге, что наши послы поедут в Литву, и с честью выпроводить посольство из Москвы. Не хочу, чтобы поляки долее оставались здесь! Они начинают здесь проказить. Я имею подозрения... но об этом после. Теперь ступай к делу.

\* \* \*

Боярин Семен Никитич Годунов также не смыкал глаз в ту ночь, когда царь Борис посетил его Федосью для чародейства. Но не бессонница мучила злого боярина, а гнусные замыслы на пагубу невинных своих товарищей лишали его спокойствия. Проводив царя, боярин возвратился к Федосье, которая, взяв его за руку, провела в свою светлицу, заперла двери и, сев рядом с ним на скамье, сказала:

– Наконец предсказание сбылось! Чрез меня ты дошел до того, что будешь первым в Думе царской и всех твоих завистников погубишь за одним разом. Я даю тебе власть и способы, Семен! Теперь ты можешь рассудить, хорошо ли ты сделал, не послушав родни своей и плаксивой твоей жены, чтоб бросить меня!

– Я тебя не бросил и не брошу, хотя б пришлось послушаться самого государя. Но скажи мне скорее, что ты выдумала для погубления наших врагов?

– Царь видел чародейство и ворожбу мою и убедился в истине, что бояре противу него составляют заговор. Адские силы открыли ему угрожающую напасть. Он поручил мне наименовать всех, которых должно сбыть с рук.

– Поручил тебе! – воскликнул боярин. – Ах, любезная моя Федосья, недаром я любил тебя! – Боярин прижал чародейку к злобному своему сердцу и напечатлел каиновский поцелуй на нечестивых устах хитрой своей любовницы.

– Ты должен завтра доставить царю список всех подозрительных людей, – сказала Федосья.

Боярин не мог воздержать своего восторга.

– Я... завтра!.. – воскликнул он несвязно.

Адская радость скривила безобразное его лицо. Синие уста его тряслись, глаза пылали, как у кровожадной гиены. Он не мог ничего говорить от избытка радости и громко захохотал таким смехом, который привел бы в трепет каждого, кто был бы менее освоен с злодействами, нежели Федосья, которая, напротив, наслаждалась удовольствием своего любовника.

– Вот тебе чернилица, перо и бумага, – сказала Федосья, подвинув небольшой столик к скамье. – Пиши смертный приговор кому хочешь. Что махнешь пером, то слетит голова;

каждая капля твоих чернил стоит ведра крови. Эту силу дает тебе твоя Федосья. Знай, почитай, а умру – поминай!

Боярин взял перо, но рука его дрожала.

– Федосья, дай мне водки, – сказал он охриплым голосом. – От радости силы мои ослабевают!

Федосья отворила шкаф, налила крепкой анисовой водки в серебряный кубок и поднесла боярину на серебряном подносе, примолвив:

– Кушай на здоровье! Мужайся, крепись, время дорого.

Боярин выпил духом, не морщась, крепительный напиток, опустил голову, положил руки на колена и задумался. Федосья села напротив него и молчала. Чрез несколько времени красные пятна показались на бледном лице боярина; он поднял глаза, посмотрел на Федосью, зверски улыбнулся и, схватив перо, написал несколько слов, воскликнув:

– Романовы!

– Который? – спросила Федосья.

– Все до единого! – отвечал боярин. – Федор, Александр, Михайло, Иван, Василий, все пятеро братьев.

– Статочное ли дело! – возразила Федосья. – Отец их, боярин Никита Романович, умирая, поручил детей своих милости царской и его попечению, просил заступить место отца (44). Память добродетельного боярина священна в народе, и царь до сих пор особенно отличает и милует сыновей его, которых не в чем упрекнуть. Они благодетельствуют бедным, кротки и снисходительны со всеми, служат царю верою и правдою; царь не согласится погубить их без явных улик... Ты пустое затеваешь, Семен!

Боярин с гневом взглянул на Федосью.

– Оттого именно, что царь к ним благоволит и хочет их возвысить, нам должно погубить их, – сказал он. – Федосья, немудрено погубить виновных. Для этого не надобно ни чародейства, ни твоей помощи. Я хочу истребить сильных и знаменитых, а кто знаменитее Романовых в Русском царстве! Вину мы им сыщем, а предлог готов. Они родня покойному царю Федору Ивановичу, имеют первое право на престол царский... Следовательно, они должны быть обвинены в злоумышлении на погубление царя Бориса Федоровича и в намерении овладеть престолом. Понимаешь ли меня? Свидетелей и улики – найдем! Ты поможешь мне, любезная Федосья, не правда ли? Но если хочешь угодить мне, не спорь о Романовых. Они первые должны погибнуть. За ними легко будет обвинить других. Как срубим дуб, орлы разлетятся, орлята сами попадают на землю – а место наше!

– Делай, что тебе угодно! – сказала Федосья.

Боярин взял перо и, написав несколько строк, сказал:

– Да погибнет ненавистный род князей Черкасских! Они также свойственники покойного царя и Романовых.

– Пиши князей Шестуновых, – примолвила Федосья. – Князь Федор неотступно просил тебя помириться с женою и бросить меня, несчастную.

Боярин написал и сказал:

– Уж коли губить Шестуновых, так туда же дорога князьям Репниным и Сицким, их родственникам и приятелям. Князь Иван Васильевич Сицкой голосит в Думе Боярской и часто отвергает мои предложения. Вечная ему память! – примолвил боярин, улыбнувшись.

– Ну, так вечная память! – повторила Федосья.

Боярин стал снова писать, приговаривая:

– Вечная память знаменитому боярину, любимцу покойного царя Ивана Васильевича, Богдану Яковлевичу Вельскому! Аминь!

– Что ты это, Семен! – воскликнула Федосья. – Боярин Вельский – друг царя исстари, помог ему сесть на престол, возвысил род ваш...

– А теперь, когда более ничего не может сделать, так в землю, чтоб не заваливал дороги и не припоминал старины царю Борису. Вечная память!

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.